

ПРОСТРАНСТВО

Когда сердитый вихрь приходит,
И воздух в беспорядок вводит,
Пески смущает, прах мятет:
Так мысль моя теперь смятенна;
Открывшаяся мне Вселенна
Являет то: конца ей нет.

Александр Сумароков

II ПРОСТРАНСТВО

НЕОПИСУЕМЫЙ ПЕТЕРБУРГ /Выход в пространство лабиринта/

Вера Серкова

Всякий город метит входящего в его пределы: подчиняет своему ритму тело (выпрямляет его или сдавливают), подчиняет движение, укорачивает взоры, означает речь, проникает в поры, и вот загадка — "петербургский стиль", "петербуржец", "чужой", — сформованные тела, закрытые печатью "Петербурга".

Петербург как мера всякого тела, — каменного, мраморного, эфемерного, двуногого, светского, никакого, "петербургского", наконец, — обнаруживает свою апорийную природу. Он сам, Петербург, как мера, есть тело непроницаемое, неделимое, от которого невозможно отнять его части (ведь частей просто нет). И этой мерой определяется все, что является не-петербургом, всякое частное, приватное, сходящее в город, в который нельзя войти, тело. Это первая часть апории "Петербург". Вторая часть: Петербург, как мера самого себя, — изначально дискретен, распадается на свои части, мельчайшие "атомы", каждый из которых есть "весь во всем Петербург". Каждая малая малость Петербурга равна здесь целому — этому неопишуемому, несказанному, т.е. в истинном смысле слова апорийному городу. Это, в общем-то лежащее на поверхности качество петербургского населения, петербургской толпы, многоножки (у А.Белого), в XVIII в. обнаруживало себя и во множестве неизвестных строителей Петербурга, новой северной столицы государства Российского, и в петровых ассамблеях, на которых прививалась русскому телу иноземная манера, в XIX в. это общее, исключаящее интервал тело узнавалось в петербургском "маленьком человеке", теме, заданной писателями-демократами, а потом гениально разработанной Гоголем и Достоевским, это тело теперь исследовалось и с точки зрения его физиологии, в начале XX его также поддерживают, как и в предыдущем столетии двойники, уплотняя, дублируя, повторяя для крепости, первое тело во втором, третьем, следующем, уже описанном, уже лишнем, ненадобном, уже вошедшем в состав петербургской многоножки.

Обнаружив эту изначальную двойственность, которая открывается в пространстве города, невозможно далее отказаться от таких исследовательских стратегий, которые гарантируют предмету изучения не быть редуцированным некоторым незаметным образом, т.е. следует, видимо, помнить о двойственной природе описанного Петербурга. Итак, согласимся, что, с одной стороны, этот город есть тело, абсолютно непрерывное, неделимое, целое, у которого, не подменяя его существа, невозможно отнять даже малой его части. Петербург, следовательно, неизменен, неделим, равен всегда самому себе, он — шар, правильная замкнутая на себя парменидова фигура. С другой стороны, Петербург — это само расстояние, мера, которая лежит между телами, он весь состоит из пространства, которое разъединяет вещи, он в этом смысле — расстояние между какими угодно большими или малыми точками. Можно согласиться с наблюдением, что раньше самого города возникло пространство города: площади и улицы появляются в нем раньше

домов. Пространство, или пустота, его качества, характеристики, метафизические свойства являются именно для Петербурга наиважнейшими. Но что же все-таки такое "петербургская дистанция"? Петербургский стиль, петербургская речь, вообще всякое петербургское качество, — это вовсе не характеристика одного из полюсов противопологающихся в некотором сравнительном предложении, но это качество самого расстояния, которое разъединяет их. Это знание того, что разделяет вещи и одновременно задает масштаб их осуществлению в пространстве Петербурга. В этом смысл Петербурга как абсолютной меры "существующего, что оно существует и несуществующего, что оно не существует", эта дефиниция гениального софиста Протагора, на которую обратил внимание Платон, когда в диалоге "Теэтет" разбирался вопрос о том, что есть знание. Там речь шла о человеке, но и город, может быть не всякий, а такой особенный, как Петербург, становится онтологической мерой.

Петербург как абсолютно плотное тело оказывается таким местом, в которое невозможно войти, т.е. телом непроницаемым. Легко можно оказаться в Петербурге — пустыне, месте, абсолютно однородном и природа этой однородности — пустота (набоковское: "классическая пустыня Петербурга"). В месте Петербурга нет никаких Conclusive Evidence, убедительных доказательств его существования. И как результат, в котором выражается мука и непропорциональный затраченным усилиям результат работы с предметом, называемом "Петербург", возникают определения-монстры: "город двойного бытия", "город гнетущей прозы и чарующей фантастики", "борьба мечты с существенностью" (определения только с одной страницы сочинения о Петербурге И.П.Анциферова). Ряд можно бесконечно продолжить, сводя несоединимые парные характеристики Петербурга — провинциального, даже деревенского ("чухонская деревня") со столичным; временного с вечным; органического тела с распадающимся неорганическим конгломератом; русского и нерусского, во всевозможных азиатско-европейских коннотациях.

Поэтические опыты в этой сфере как всегда оказываются самыми жесткими. У Полонского сказано о Медном Всаднике:

..."Его несущего коня"...

В Петербурге все кони оказываются несущими. Н.В.Гоголю тоже давались чрезвычайно простые, как вздох сожаления и умиротворения, слова: "Трудно схватить общее выражение Петербурга". Но и искушенные опыты вхождения в пространство Петербурга (классическая романная форма, нарративное письмо, также как, разумеется, и модернистские переключения регистров в описаниях, и опыты, исполненные в технике "нулевой степени письма") демонстрируют провокативную природу предмета описания: Петербург из обозначаемого всегда превращается в обозначающее, он разоблачает того, кто берется его определять. Так, описывая Петербург, А.Белый описал свой мучительный роман, Достоевский — свои скитания по Петербургу, начиная с казенного житья в Инженерном замке. Гоголь только прибавил Петербургу нездешнюю несвойственную ему пряность малороссийского суеверия и магию фантастических трансмутаций. Петербург остается во всех возможных литературных, исторических, физиогномических, бытописательских формах письма городом неопишуемым, не дающим знака присутствия в описании. Не меняет дела и изобретение каких угодно хитроумных классификаций, в которые включались бы случайные и существенные признаки Петербурга. Существо описываемого Петербурга состоит именно в том, что он так же просто избавляется от своего существенного (собственного) признака, как и от громоздкой системы привходящих акцидентальных отличий. Результат этих операций тот же: мы имеем

"Петербург Достоевского", "Петербург Андрея Белого", "Петербург Пушкина", т.е. к имени собственному всегда прилагается затмевающее его другое собственное имя. Сумма же таких описаний дает парадоксальный результат — Петербург оказывается предметом неопишуемым, сводящим на нет всякую попытку идентификации в системе опознавательных знаков.

В романе А.Белого "Петербург" есть блестящий пример срыва исследовательских стратегий, выделяющих существенные и несущественные свойства предмета. Пример какого-то особенного мерцания двух классов предикабилей — по собственному и по акцидентальному признаку. Борода и бородавка. Конечно же, вообще для всякого человека существенным признаком лица является борода, как его часть. Но вот когда человек — это тот, кто мучает и преследует тебя, его бородавка, случайный признак, оказывается наисущественнейшим, таким, который вытеснит любое качество его "человечности". Предикабилеей Петербурга во всех "частных" литературных его описаниях чаще всего выступает привходящий акцидентальный признак. Именно это вытеснение существенных свойств акцидентальными своим итогом имеет то, что ряд существенных признаков пополняется с каждым таким опытом фантастическими петербургскими признаками, которые теперь уже вменяются Петербургу. Этот запущенный и превосходно работающий механизм умножает до бесконечности фантазмы Петербурга — гиперболы, метафоры, символы, природа которых в конце концов сводится к игре акцидентальными предикабилеями.

Итак, постижение Петербурга в конце концов сводится к обнаружению двух взаимодополняющих тел, которые могут существовать в совершенно несвязанных между собой петербургских текстах — "Петербург-сам-по-себе" ("просто Петербург") и "Петербург, определенный частным телом". Это значит, что в видении Петербурга должны быть совмещены два взгляда. Первый — идеальный проект, почти навязанная для Петербурга точка зрения супервизора — идеального наблюдателя, задающего пространственно-временную, в кантовском смысле слова, эстетику города. Это зрение хранителя панорамного обзора, взгляда сверху, обладающего чутьем сверхвозможного порядка и устройства. И второй, уже описанный, ракурс, в котором представляется Петербург, — частный, зависимый от мгновения времени и точки, с которой производится обзор, взгляд на город. Вопрос остается открытым — почему один взгляд не поглощает и не упраздняет другой? Почему при возможности и при непреложности первого сверхвзгляда на этот город (нейтрального и равнодушного знания планов, истории, перспектив, персонажей и т.д.) не умаляется ценность "частного" видения Петербурга? И почему вместе с точностью и непреложностью системы "объективного" описания следует сохранять, поощрять и прямо-таки культивировать всевозможные формы аберрации, отклонения, смещения фокуса, вертикальных и горизонтальных сдвижек, признания неустойчивости границ, попадания внутрь того, что должно было бы быть снаружи и за пределами. Это совмещение и сведение двух точек зрения в отношении к Петербургу, которые являются антиномическими, исключают одна другую, хоть как-то позволяют справиться с прорастающей во всяком описании Петербурга метафорой — город на болоте, которая, по сути дела, скрывает срывы дискриптивных техник и неудачи методологического усилия сохранить цельным предмет описания. Вся тщета наших стараний справиться с петербургским мороком и петербургской канителью раскрывается в окончательном результате наших методологических блужданий — Петербург не обретает устойчивой почвы в своих определениях.

И тогда усталые не своими только трудами, дряхлея от многовековой заботы вытеснить из употребления пресловутое словечко "тайны" Петербурга, автор очередного исследования вдруг да найдет фигуру, которая, как говаривал Пушкин, "разрешит язык",

т.е. даст возможность такому странному как двойное тело объекту исследования быть, принять онтическую оболочку. Такой разрешающей бремя определения фигурой для Петербурга может стать лабиринт.

УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБИРИНТА

Рисунок лабиринта зависит от формы пустоты.

Всякий лабиринт включает в себя двойное тело.

В лабиринтных отношениях всегда участвуют двое.

Лабиринтное пространство складывается из отрезков кривого и прямого пути.

Всякая лабиринтная часть есть также лабиринт.

Лабиринтную онтологию можно раскрывать и устраивать при помощи постулатов, на которых как на колоннах можно удерживать несомые части. Крепость такой конструкции будет определяться отношением несущих и несомых частей. Архитектоника лабиринта будет зависеть от того, не слишком ли большую нагрузку взгромоздили мы на устои, выдержат ли они эту балочную конструкцию. И поселится ли в доме, который мы создаем, божество, к которому мы уже пристроили оракула.

Топология лабиринтного пространства предполагает присутствие при нем двойного тела. "Верхнее" тело только наблюдает происходящую в недрах лабиринта борьбу с кривым лабиринтным пространством. Эти метафизические взгляды на Петербург запечатлены в многочисленных панорамах города: в знаменитой панораме Петербурга Алексея Зубова 1716 г., в изображении "знатнейших проспектов" Михаила Махаева 1753 г., в панораме Петербурга Джона Аткинсона 1805 г., наконец в панораме 1820 г. Анжело Тозелли. XIX в. — век слова, и далее функции метафизического присмотра за городом наследует литература: Пушкин, Белинский, и самый знатнейший в этой области — Ф. Достоевский. Петра Великого также можно причислить к тем, кому были знакомы точки супервизорского характера. Он был строителем двух петербургских соборов, которые стали вертикальными осями Петербурга — Петропавловского собора и Исаакиевского. Второй из них, в котором венчался Петр I, теперь существует в совершенно ином облике, он как бы сбросил с себя многие личины — деревянный петровский небольших размеров храм перестраивали А. Ринальди и В. Бренна, и наконец, О. Монферран придал ему настоящий вид. Но важно, что именно с этих соборов с колокольни одного и с вышки другого открывается вид сверху на Петербург. Петр приказал начать строительство Петропавловского собора не с восточной его части, со стороны алтаря и абсид, как это обычно было, а с западной, с той, где должна была возвышаться колокольня. В 1720 г., вернувшись из Западной Европы, Петр поднимается на колокольню, чтобы сверху видеть Петербург. А такой искушенный знаток Петербурга как Николай Палович Анциферов советует начинать знакомство Петербурга с подъема на вышку Исаакиевского собора.

В лабиринтных отношениях завязаны всегда двое — тот, кто охраняет лабиринтную онтологию (тот, кто смотрит сверху, видит рисунок лабиринта, имеет точку перспективного смотрения), и другой, — тот, который находится внутри лабиринтного пространства, занимает определенную локальную частную позицию. Первый наблюдает за соблюдением правил лабиринтной игры и не позволяет свести ее ни к грубой западне, ни к простому прямолинейному хождению, он знает ходы и выходы из лабиринтного узла, но не может их транслировать лабиринтному скитальцу, который, в свою очередь, всегда совершает рискованные ходы и никогда не может быть уверен в их правильности.

Между этими лабиринтными участниками не может быть никакого прямого отношения. Ведь лабиринт остается таковым, пока лабиринтный ходок не знает его устройства.

Лабиринт — это кривое пространство. Первые, уже изменившиеся названия петербургских рек и каналов свидетельствуют об изначальной кривизне петербургского ландшафта. Безымянный Ерик (Фонтанка), — само имя говорит о том, что это глухая протока, т.е. что, описывая дугу, речушка впадает в ту же водную артерию, из которой вытекает. Канал Грибоедова или Екатерининский канал сначала назывался Кривушами. Мойка была Мьею, т.е. илистой топкой речкой, которая вытекала из Безымянного Ерика, а потом терялась в окрестных петербургских болотах. Все эти кривые речки и каналы, вдоль которых скоро начинается вытягиваться город, составляют существенную особенность топологии Петербурга, его лабиринтную основу.

Но весьма существенно, что лабиринт — это не только криволинейные структуры: пространственные замки, закручивающиеся или веером разбегающиеся дорожки только создают видимость поступательного движения, а на самом деле отдалают цель странствия и маскируют повторяемость кругового пути. Напротив, лабиринт с необходимостью должен включать в себя отрезки прямолинейного героического пути, которые, подчиняясь общей лабиринтной схеме, являются ничем иным, как лабиринтной уловкой. Если превращение лабиринта в ловчую сеть изменяет его природу, то столь же губительным для лабиринтной конструкции окажется отсутствие лабиринтного скитальца. Лабиринт в этом случае окажется необжитым, он не находит своего героя, который захочет в него войти. Потому истинный лабиринт с неизбежностью включает в себя атрибуты героики: лучевые проспекты, которые появляются в Петербурге еще при Петре Великом — Большая перспектива, при императрице Анне Иоанновне названная Невскою; Адмиралтейская, потом Гороховая, и Воскресенская улицы; линии Васильевского острова, затем триумфальные сооружения — арки,obelisks, колонны, одеоны и прочие сооружения, заимствованные из греко-римской классики. Много таких, возникших при Екатерине II построек и связанных с явившейся из Европы моды на классику, начинаются на периферии города и в пригородах — сооружения Камерона, Бренны, Росси. Эти постройки служат в лабиринтных системах приманкой герою, который рождается вне лабиринта, приходит со стороны. В этом отношении вообще примечательна укорененность в Петербурге греко-римских архитектурных форм, в отличие, скажем, от византийских так и не прижившихся в городе. Проспекты простирают город. Триумфальные ворота встречаются тут и там: Московские, Нарвские, включенные в ансамбль Главного Штаба; триумфальная арка читается и в фасаде костела св.Екатерины на Невском проспекте, и даже внутри Петропавловского собора иконостас выполнен в виде триумфального сооружения. Все эти прямолинейные перспективы с принадежащими им атрибутикой чествования героев преломляется в Петербурге всякого рода изломанными криволинейными силовыми полями.

Итак, если принять навязанную сильной стороной, Петербургом, игру, то постепенно проявляется эта схема, придающая определенность структурной топологии городского пространства фигура лабиринта. Теперь самый благоразумный шаг — пройти этот лабиринт до конца, даже если таким "концом" окажется не выход в иную топографическую сферу (хаос, пустоту, правильная видимая с любой точки система или, наконец, бесструктурное пространство), а повторение уже совершенного пути. Самая страшная часть лабиринта — это такое вот безнадежное блуждание в узанном повторном хождении. Мудрость лабиринтного скитальчества состоит не в приобретении такого горького безысходного знания и не в обнаружении суммы лабиринтных ходов, ведущих к выходу из лабиринта, ведь такое разгадывание ведет к разрушению лабиринта и к выталкиванию тела в новое пространство. Понять (обжить) лабиринт — это значит

показать взаимодействие двух лабиринтных структур — онтологической — неподвижного метафизического глаза, и онтического центра, который управляет всяким частным героическим продвижением по лабиринту. В первом измерении город-лабиринт представляется вечным городом, в котором ничего существенного не происходит, где тело города, постоянно наращивая плоть, меняясь, остается всегда равным самому себе, и несущественными оказываются ни смена правителей, ни перепланировка города, ни перемена архитектурных стилей, ни даже переименование. Взгляд лабиринтного странника, рыцаря лабиринта, отмечает множественность меняющихся тел города. Так он может увидеть фахверховый Петербург времен Петра I, на него наслаивается Петербург, отстраиваемый петровскими пенсионерами Еропкиным, Земцовым, Коробовым, с малой толикой уцелевших зданий, но зато с великим множеством великолепных, прорастающих из небытия памятников. Петровское барокко — елизаветинское барокко, "русский классицизм", затем курьезы послеклассического Петербурга, со множеством обманных псевдоформ — псевдорусским, псевдогоthicким, псевдомавританским стилями. Затем "северный модерн". "Сталинский ампи́р", и последнее громадьё скупых форм. Аристократический Петербург и летний "Питер", когда город, выпуская за свои пределы весь "свет", превращается в приют работающего люда.

Во всех до чрезвычайности странных названиях петербургских архитектурных стилей проявляется не столько модуль стилеобразования, сколько расшатывающие его поправки, отклонения, исключения. Частное продвижение в городском путанном пространстве открывает архаические петербургские пласты, которые уже оказались сокрытыми в складке, упрятаны, поглощены другими телами, утрамбованы, уплотнены метафизическим взглядом в теле города. Это ставшее уже эфирным тело Петербурга, преддано, предпослано, предуготовано исследователю того плотного и нарощенного организма, каким стал теперь Петербург. Оно дается только в частных лабиринтных изысканиях, которые хранят правила лабиринтных исследовательских методик, не транслируемых и непригодных для других знатоков.

Вид сверху открывает еще одну особенность петербургского ландшафта. Здания, которые в горизонтальной плоскости воспринимаются пластинчатыми, с вытянутыми вдоль красной линии фасадами и плоскими торцами, на самом деле, т.е. во временной длительности, открывающей постоянство вещей и равенство их самим себе — эти строения оказываются прихотливейшего рисунка путанными неправильными пространственными фигурами. К таким сверхусложненным пространствам относятся Михайловский дворец и Михайловский замок, здание Министерства народного просвещения на набережной Фонтанки у Чернышева моста, Министерство юстиции на Екатерининской улице, Таврический, Шереметьевский дворцы, здание Главного штаба, Меншиковский дворец, здание Академии художеств, Царскосельский вокзал Николаевский вокзал. Если потрудиться привести полный перечень всех сооружений Петербурга, которые обманывают четкостью фасада, мнимой городской стесненностью или чем-либо еще, то этот список, наверное, будет более обширным, чем тот, в котором будут значиться здания с подлинно пластинчатой онтологией. Эти гигантские, разворачивающиеся в пространстве многогранники со множеством внутренних дворов, нередко определяются либо кривизной реки, на берегу которой стоит здание, либо разветвлением перекрестных дорог. Все это наводит на мысль, что пресловутые перебургские дворы-колодцы со всеми тупиками и сквозными переходами, — это пространственное устройство отнюдь не случайно развивается именно здесь, в городе, который всякий раз стремится преодолеть простоту рисунка местоположения и утвердить лабиринтную схему.

Но даже в том случае, когда план и объем соответствуют простым, ничего не обещающим для лабиринтного странника пространственным конфигурациям, лабиринт все-таки выстраивается.

Так, в самом центре Петербурга располагаются два здания, которые являются классическими формами петербургского лабиринта. Первое — Михайловский замок. Оно было выстроено Винченцо Бренной для императора Павла I на месте старого деревянного Летнего дворца, в котором Павел Петрович родился. Это сооружение — единственный на весь Петербург замок. Оно изначально выстроено подозрительным монархом по принципу лабиринта — со множеством потайных дверей, тупиков, разветвленных ходов, переходов. Но Михайловский замок оказался для Павла Петровича настоящей ловушкой. Павел не смог оказаться обладателем метафизического глаза, а стал лишь загнанной в угол лабиринтной жертвой. Архитектура замка удивительна, и можно было бы сказать неповторима, если бы один из фасадов этого здания, тот что выходит к Летнему саду, не имел бы поразительного сходства с фасадом Александринского театра.

Если присмотреться к архитектуре театра, сооруженного блистательным представителем петербургского ампира Карлом Росси, то бросается в глаза обычная деталь позднего классицизма — в фасаде колонны, поддерживающие аттик, подняты на цокольный этаж. Редко бывает так, что античная схема конструкции в позднем стилевом преломлении читается так четко. Ведь цоколь означает Олимп, а то, что над ним возвышается и есть, собственно, храм. Итак, нижняя часть здания — гора, над ним стоящая — дом Бога. Тогда становится очевидным, что тот вход в здание, которым мы обычно пользуемся, когда попадаем в театр, — три скромные двери в цоколе, — ложный, а настоящий отыскивается где-то между колоннами (колонный вход). Совершенно определенно перед нами лежит лабиринтное сооружение, конструкция вполне античная, достаточно вспомнить знаменитый критский лабиринт, построенный Дедалом, или дом Лабиринта в Помпеях. В отличие от Михайловского замка, российское творение имеет вертикальную структуру. Входы расположены один над другим, и для того, чтобы попасть в здание, следует оторваться от земли, перестать быть существом заземленным, заставить себя войти в лабиринтные недра. В здании обозначено также и место, где оказывается победитель лабиринта, тот, кто вышел из него. Оно — рядом с колесницей Аполлона, запряженной квадригой коней. Если сравнить конструкцию этого сооружения с московским Большим театром, то отличие состоит именно в том, что в чрезвычайно похожем здании в Москве нет лабиринтной основы. Таким образом, в Петербурге Михайловский замок представлен формами горизонтального лабиринта, а Александринский театр — лабиринт с вертикальными лифтами.

Так мы видим, что в Петербурге развивается особое обращение с пространством. Сама пустота для Петербурга имеет онтологический смысл. Она выступает формообразующим началом.

Особое отношение (попечительство) к пространству (пустоте) оказывается сродни пифагорейской метафизике и космологии. В "Физике" Аристотеля есть замечательный рассуждения о природе и возможности существования пустоты. Там же у него содержится комментарий к пифагорейской космологии: "Пифагорейцы также утверждали, что пустота существует и входит из бесконечной пневмы в само Небо, как бы вдыхающее (в себя) пустоту, которая разграничивает природные (вещи), как если бы пустота служила для отделения и различения смежных (предметов)." (Аристотель. Физика 6.213.22).

Это подпитывание космоса пустотой, дыхание организованного пространства пространством неструктурированным для понимания петербургского архитектурного ландшафта является весьма существенным. Вообще пустота, под которой мы будем

понимать не только свободное, ничем не занятое место, но и особую энергию, раздвигающую и рассредотачивающую плотные архитектурные тела, в различных стилевых системах имеет различную физику. Так пустота готического собора — это не вытесняемая, замещаемая субстанция, но сама основа готического сооружения. (То, что охраняется камнями средневековых кафедралов, то, что зодчими вставляется в каменную оправу.) Корпус готического собора — это гигантская машина, нагнетающая вовнутрь сооружения пустоту. Готический храм, так же как пифагорейское Небо дышит пустотой. (Вдыхая пустоту, нагнетая ее вовнутрь, уплотняя ее внутри храма.) Пустота отстаивается и превращается в пустоту-свет, пустоту-звук. В готике сама архитектурная коробка служит только резонатором пустоты, извлекающим из нее невиданные доселе возможности. Изысканные звуки органа, который мог только здесь, в этом пространстве проявиться, есть ничто иное как манипуляция звуковым отражением, эхом звука, звука, перекаченного органными трубами и превращенными в сцепленный мелодичный ряд. Витражи, фильтрующие пустоту-свет, наполняют предуготовленное готикой пространство к принятию этого тончайшего субстрата.

Готический храм — это конструкция, беременная пустотой.

Совершенно по-иному проявляет себя пространство православного собора.

Русский православный храм не удерживает пустоту внутри себя, но постоянно выдыхает ее, сам постепенно превращаясь в плотное телесное, не смешанное с пустотой пространство. Пустота изгоняется из церкви, остается неделимое протяженное тело. Русский храм, какой-нибудь псковский Василий на горке или Жен Мироносиц в Новгороде, обнаруживает такую усугубленную и концентрированную телесность, что становится всякий раз ясно, что пустота, которая в готике выступает как наиболее пригодная для освящения субстанция, здесь оказывается лишней, а потому вытесненной, не востребованной. Плотная, с очень толстыми стенами и с маленькими окнами и в барабане купола, и в толще стены, коробка храма содержит сплошной, сложившийся к XIV в. иконостас, солею с амвоном, аналои с иконами и множество икон на стенах, без которых нельзя представить русский храм. Храм, кроме того, наползает на пространство, и вокруг, — это тоже характернейшая черта русского культового зодчества, — появляется множество приделов. Эта стихийная экспансия на пустоту, это распространение плотного тела особенно ясно проступает в конструкции московского Покровского собора (собора Василия Блаженного). Это храм необычной конструкции — он представляет собой семь церквей на одном основании, или семь колоколен, сдвинутых вместе, а не шесть приделов к одному главному церковному зданию. К XVIII столетию, ко времени, когда начинает складываться облик Петербурга, русская церковная архитектура далеко ушла от византийских крестово-купольных конструкций. Кроме столбовых церквей, как в храме Василия Блаженного, в XVII столетии во множестве появляются шатровые строения. Кроме того, в конце XVII в. в Москве появились церкви в стиле так называемого нарышкинского барокко, нарядные, с измельченным и пышным декором.

Петербург не унаследовал ни традиционных византийских форм храма, ни затейливых нововведений Москвы. Первый каменный собор Петербурга вообще не был ориентирован на православные церковные образцы. Петропавловский собор — и символ города, и, что в духе лабиринтного устройства, он является абсолютным исключением и в отношении архитектурных прототипов, и в качестве модели для подражания. В этом сооружении принято обычно выделять колокольню, и отдельно говорить о ее архитектурных достоинствах. Так Б.Р.Виппер, блестящий знаток русского барокко, отмечает: "Петропавловский собор не обладает единством целостного архитектурного организма. С точки зрения целого, не удовлетворяет ни общая композиция, ни пропорции

частей (купол и портик слишком малы по сравнению с общим массивом здания), ни профили членений. Но колокольня собора, взятая в отдельности, представляет собой замечательную удачу архитектора" (Вишпер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. С.45). Речь идет о Доменико Трезини, первом архитекторе Петербурга. В последнее время возник вопрос об участии Петра Великого в создании макета церкви. Но поскольку ни сам макет, ни чертежи и подготовительные рисунки собора не сохранились, невозможно установить, ни в какой степени собор отражает теперь архитектурную идею царя, ни сколь современный вид его зависит от позднейших переделок (в частности, насколько изменился его образ при воссоздании Петропавловского собора после одного из пожаров, когда восстановительные работы велись архитектором "елизаветинского барокко", великолепным Бартоломео Растрелли и Саввой Чевакинским). Но будем исходить из того, что основные пропорции этой постройки остались первоначальными, то есть пространственные отношения колокольни собора, основного тела собора и его купола не были нарушены. Абрис собора во имя св.первоцерковных апостолов Петра и Павла непривычен для русского глаза. В нем все нетрадиционно, и во всем чувствуется биение иной мысли, для которой зодчество выступает только внешней телесной формой. Тело собора весьма обстоятельно выразило эту новую для России онтику церковного пространства. В отношениях высокой колокольни и маленького декоративного купола (остатка древнего византийства) очень ясно отражается сдвиг в традиционной храмовой архитектуре, в которой размываются границы между восточным православным образом храма и западным. Глядя на Петропавловский собор, вспоминаешь готические фантазии Гоголя, которому не хватало в Петербурге средневековых гигантских кафедралов ("мрачного готического", "религиозного бесконечного шпица"). Всякое готическое сооружение открывается в пышности западных порталов с башнями, обычно выходящими на городскую площадь. Впечатление от готических соборов, открывающих с севера и с востока свои уродливые системы из контрфорсов и аркбутанов, принимающих на себя и перераспределяющих тяжесть сводов (с этим со стороны открывающимся впечатлением громоздкости черновых сторон готики связаны аналитические штудии Вл.Набокова, который, рассматривая готические средневековые шахматные задачи, заметил как-то "уродливость шахматных готических трехходовок") — это впечатление громоздкости и причудливости нагроможденных масс, как мы показали, снимается внутри собора, в котором царит чистое пространство. В Петропавловском соборе сросшаяся с самим храмом колокольня выполняет как бы функцию готической репрезентативной башни. Купольная базилика, — эта основа византийской архитектуры, здесь тоже присутствует, но купол Петропавловского собора — деталь, которая лишь формально соблюдена, без проникновения в семантику крестово-купольного сооружения. Тело собора не подчинено куполу, оно не имеет его в виду, базилика здесь не приведена в гармоничное сочетание с главой, она потеряла свое космологическое значение. Соблюден только формальный ее признак, и потому так мал и так неприметен купол Петропавловского собора, этот символ неба в византийской архитектуре. И потому еще весь облик Петропавловского собора отнесен к идеальному проекту первохрама, неудавшегося вавилонского сооружения, первого архитектурного усилия устроить "лестницу в небо". Архитектура этого первохрама управляется и создается самой грандиозностью размеров, величиной, высотой самой по себе. Эта идея построить себе башню "высотой до небес", этот соблазн и ложный вертикальный ориентир как архитектурно-идея присутствует во всякой архитектуре, обращенной к Богу. Во всякой церкви преодолевается или не преодолевается это искушение "сделать себе имя" ("И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать." (Быт.11,6)). У нидерландца Питера Брейгеля

есть две живописные версии Вавилонской башни, которые более, чем что-либо другое проясняют идею этого сооружения, всю невозможность ее конструкции. Первое, находящееся в коллекции ван Вейнингена, представляет собой сооружение, вознесшееся выше облаков, строение стройное, с определенным планом, воздвигаемое с основательностью и следованием определенной логике, но заброшенное потому, что была забыта сама первая мысль, потеряна целеполагающая причина этого строительства. Другая модель Вавилонской башни выражена в конструкции, изначально обреченной на разрушение. Она представляет собой упрятанный в толще стены лабиринт. Согласно Брейгелю, Вавилонское строительство — это забытая мысль, с одной стороны, а с другой — это вертикаль ("лестница в небо", много позже приснившаяся Иакову), которая, тяжелея, переходит в горизонталь, скручивается, теряет свою богоориентированную ось, и наращивает на плоскости свои лабиринтные недра. У Бригеля эта нарощенная плотность конструкции обнажает свою превращенную сущность — лабиринт, скрытый в толще стены. Готический собор ближе всех прочих христианских сооружений стоит к архитектуре Вавилонской башни. В нем выражена метафизика пройденного покоренного пространства, очень большого, и потому утвердившего свою собственную историю и скрывшего в своих складках первоначальную небесную интенцию, но недостаточно великого, чтобы вовсе уж изжить вертикаль, и растекаться по пространству, как город. Всякая церковь рано или поздно завершается, хотя это, как в постройках готических храмов, может растягиваться на века, но ни один город, если он уже не мертв, никогда не бывает доведен до конца. Таким образом, каждая посвященная Богу конструкция несет в себе, во-первых, неизжитое желание создать дом, высотой до небес, во-вторых, в каждой такой конструкции есть память о неудачном вавилонском эксперименте, и кроме того, в-третьих, построить дом Бога. Это последнее стремление приводило строителей к разного рода экспериментам освящения пространства Божьего дома. Смысл строительства теперь сводился не к размерам и объемам здания, а к способу обращения с пространством, символическим действиям, которые преображали место, пустоту, пространство, из которых вырастает храм.

Маленькая церковка может иметь все достоинства вселенной и включать в себя все составляющие ее части: небесную твердь, в которой царствует вечность, и части, в которых разворачивается мистерия ветхозаветной истории, и место, в котором запечатлеваются новозаветные события, и всякие современные послеапокалипсические события, которые уже начались, потому что слово откровения уже сказано. Так оказывается, что маленький Спасо-Мирожский храм в Пскове, расписанный византийскими мастерами в XI в., становится "лестницей в небо", местом встречи с Богом, и эта встреча совершается во встречном движении Бога и верующего человека.

Если снова обратиться к семантике архитектурных форм Петропавловского собора, то крошечный, непропорционально малый купол и стройная несоразмерно вытянутая колокольня имеют на себе след различных опытов устройства храмового хозяйства, две различные метафизические перспективы: ветхозаветную, от Вавилона, и по византийским соборным прототипам, восходящим к церквям св.Ирины, свв.Сергия и Вакха и, конечно, св.Софии, храмам Константинопольским.

Вавилонская проступающая структура собора, это его "частное" тело, в следующих церковных постройках, которые производились петровскими пенсионерами Земцовым (ц.св.Симения и Анны на Моховой) и Коробовым (св.Пантелеймония в Соляном переулке недалеко от Летнего сада), хотя и имеют конструкцию Петропавловского собора, тем не менее в пропорциях сглаживают несоразмерности трезиниевского собора. Купол в них велик и подавляет своими относительными размерами такую же сращенную со зданием церкви колокольню. Следующий большой стиль Петербурга, "елизаветинское барокко",

приобщает город к традиционному пятиглавию (храм Николы Морского, Князь-Владимирский, Андреевский, Смольный соборы), а в классицистических композициях купол, но не византийский, а римский, языческий, совсем уже утверждается в северной столице.

* * *

В Петербурге поражает способность города превращать в символы любое свое содержание. Всякое элементарное значение в отношении к Петербургу приобретает очень скоро некоторый избыточный смысл, который кристаллизуется в символ. Может быть этой избыточностью можно объяснить родственность Петербурга некоторым иным столь же засимволизированным пространствам — Вавилону, Риму, Константинополю. В символ превращается и свет и цвет Петербурга. В свете город мерцает: в разное время года, в разную погоду Петербург светом преображается. Северные петербургские белые ночи, негасимый свет природы падает странными тенями на Петербург. В XIX в. о Петербурге писали, что он напоминает цвет мощей, писали как о городе бледном, призрачном, одним словом, неярком. Оттенки были — бледно-зеленый, бледно-голубой, лиловый — у Гоголя. Светлое, светское, подсвеченное свечами, лампадками, петровскими фейерверками, послеоктябрьскими салютами, все эти дополнительные источники освещения, вовсе не придают городу классической ясности, но делают освещенной петербургскую мглу. Негреющий огонь, полночное светило, бледный свет, белые ночи — все это трансформированная стихия огня, остывшая здесь небесная стихия. Для Петербурга когда-нибудь настанет пора сложить местную космогонию в духе первых натурфилософов.

Что касается цвета, то палитра города остается довольно устойчивой: к историческим цветам петербургских стен — брусничному, желтому, горчичных оттенков, зелено-голубому петровскому Петербургу присоединяются насыщенные краски времен Елизаветы Петровны: зелено-лазоревого, фишашкового, желто-розового, потом "скучные" цвета классицистического Петербурга: желто-белый, серо-белый. В XIX в. — мрачные (кирпичный, глухой серый) цвета эклектики, иногда — невообразимая пестрота позолоты в сочетании с синим, зеленым, красным — приобретения псевдо-русского стиля. Аметистовые оттенки петербургского модерна.

Изоощренный петербургский серебряный век устами поэтов запечатлел Петербург в иных цветах. Он придал призрачному городу телесную полудрагоценную плотность.

У Николая Гумилева: "Помилуй, Боже, мраморные души".

Или: "Закат из золотого стал как медь.

Покрылись облака зеленой ржою".

(Цвета превращенных металлов)

Стали усугубляться зловещие оттенки:

"Полотенца луннозеленые

На белом окне на полу.

Но желта свеча немоленая

Под вереском, там, в углу.

Протираю окно запотелое,

В двух светах на белом пишу...

О зеленое, желтое, белое!

Что выберу... что решу." (З.Гиппиус)

И только в драгоценной палитре Иннокентия Анненского проявлены цвета, будто позаимствованные с полотен художников раннего Возрождения:

"Так нежно небо зацвело,
А майский день уж тихо тает,
И только тусклое стекло
Пожаром запада блистает"

Но поэт всегда был в Петербурге "частным телом", поэт — это тело, предуготованное для лабиринта. И если это так, то первый лабиринтный странник найден. Путешествие по лабиринту можно начинать. Погружение в неопиcуемый Петербург.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Петербург даже как-будто сопротивляется византийским конструктивным формам. Так, почти все стилизации русско-византийской старины, созданные в середине XIX в. К.Тоном, прославившем себя еще и как архитектор храма Христа Спасителя в Москве, были Петербургом утрачены: погибла церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы на Загородном проспекте, не сохранилась церковь св.Екатерины (в Екатерингофе); Благовещенская церковь, стоявшая неподалеку от Николаевского моста; ц.св.Мирония, располагавшаяся на наб. Обводного канала. В то же время, классицистические формы будто даже обладают способностью возрождаться из пепла: разобранный портик Перинной линии был восстановлен, чего трудно ожидать от исчезнувших тоновских церквей. Так же как церкви К.Тона погибли старообрядческая моленная Божией Матери "Знамение", пятиглавый, стилизованный под старинные новгородские храмы, собор; и та же судьба у ц.Свв.Николая и Александра Невского, построенной в нач. XX столетия С.С.Кричинским.

© В. Серкова, 1993

МЕТАФИЗИКА СМЕРТИ В ОБРАЗАХ ПЕТЕРБУРГА

Михаил Уваров

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать,
На Васильевский остров
я приду умирать.
И.Бродский

...Слышится похоронный звон Петербургу, умышленному и неудавшемуся городу.
Н.Анциферов

Я хочу начать с небольшого личного воспоминания. Как-то раз, довольно уже давно, на Невском, на углу канала Грибоедова, меня остановил человек и спросил по-английски: "А где находится исторический средневековый центр Ленинграда?". Мучительно пытаюсь найти ответ на поставленный вопрос, я сам пробовал решить эту загадку. Ведь у значительного, великого, "традиционного" европейского города должен быть исторический средневековой центр! В первую минуту замешательства, будучи, между прочим, коренным питерцем, я не смог ничего другого ответить, кроме как "Не знаю...". Я думаю, многие переживали в своей жизни подобный синдром "незнания" очевидного, который чем-то напоминает атактический /по сути шизофренический/ синдром неожиданной ситуации, "разорванного сознания", когда начинаешь не другого и не другое, а самого себя ощущать в качестве "тела без органов", без чувств, потерявшим элементарную ориентацию в близком и хорошо знакомом тебе мире. "Такой старый" город и — без средневекового центра...

Потом я подумал, а может быть и хорошо, что не нашелся ответ в ту секунду. Неужели долго и нудно разъяснять незнакомому человеку, возможно, бесконечно далекому от любимых питерских, а тем более российских проблем, что был-де такой Петр Великий, который основал, правда, город, но случилось это менее трехсот лет назад, и потому нет и не может быть у него средневекового центра. Вряд ли можно было в двух словах объяснить и другое, гораздо более важное, что город, чрезвычайно молодой по европейским меркам, по сути своей поистине город средневековый. И хотя "тьма средневековья" падает лишь от великого творения Доменико Трезини — Петропавловской крепости, дело не в постройках и архитектурном ландшафте, но в мудрости традиций, пересечении культур и эпох, двуликости /и многоликости/ Петербурга, уникальности его судьбы.

Любой вопрос о Петербурге вызывает такую бурю ассоциаций, такую переполненность сердца и души, что пауза молчания, бессознательно замещающая поток цветистой речи, оказывается лучшим ответом, даже если язык подводит, выводя скрипучее "не знаю...". Все подходит к нему — и карсавинский опыт постижения средневековья, и хейзинговская "осень средневековья" — пора благодатная, творческая, и бахтинская "смеховая культура". Он все может впитать в себя. Он — как губка, вбирающая любые традиции, даже те, которые ему как бы и не присущи "от века". И когда осознаешь эту простую истину, неизбежно встает вопрос о метафизике процесса "вбирания" традиций, совсем не замыкающегося, конечно, на средневековье. Что кроется за рамками видимого, что систематизирует облик Петербурга и является его метафизической доминантой?

Я хочу высказать гипотезу о том, что любой синтез, происходящий в образных ландшафтах петербургской истории и культуры, неизбежно замешан на антитезе жизни и смерти, причем идея, образ, символ смерти, чаще всего, преобладает, почти физически возвышается над жизнью, жизненностью, светом, радостью. Танатологический контекст — поскольку я говорю о метафизике смерти — имеет самые разные оттенки, от "классического" психоаналитического и "хрестоматийного" христианского до иррационально-шизоаналитического и обыденно-клинического. Фигуративность смерти в образах Петербурга поистине многолика. Вряд ли можно найти хотя бы одно значительное явление в лике и исторической судьбе города, которое можно оценить и понять в не смертности, а следовательно, вне изначального противостояния жизни и смерти. Как говорил Дм. Мережковский, "в лице Петербурга то, что врачи называют *facies hystericata* -лицо смерти".

Физио-гномика Петербурга

В XIX веке было модно рассуждать о физиологии Петербурга — "русского города, основанного на немецкой земле и наполовину наполненного немцами и преисполненного иноземными обычаями" /В.Белинский/. Пристальное внимание к различным проявлениям телесно-земной, обыденной жизни города вовсе не было случайным. Городская "клоака", как бы впитавшая в себя сумрак и миазмы прибалтийских болот, может служить неповторимым ландшафтом психологического бытописания. "Свет и тени" Петербурга Ф.Достоевского, А.Блока, А.Белого возникают в том числе и в контурах физиологического трансформирования, оборачивания видимого Петербурга — города призрачных ночей и внеположенной человеку архитектуры. И все же очевидно, что Петербург не сводится к этой стороне своего существования. Сам по себе "физиологический акцент" довольно двусмыслен: физиология города, понимаемая в качестве его "изнанки", инобытия телесного, часто противоречит собственно культурно-историческому ландшафту, бытию "зримого" города. Между тем, чрево Петербурга можно постигнуть, понять не только в физиологическом плане, тем более, что жизненность и смертность далеко выходят за рамки телесного, физического. Реальная, "низменная" смерть — это смерть, уже ушедшая от метафизического взора, точнее, прорвавшаяся сквозь скрепы метафизики. Физиологический анализ не может откинуть вуаль запредельного. История питерского "Сайгона" потому и стала частицей истории города, что не вписывается целиком в физиологический контекст. "Сайгона" больше нет, есть лишь легенда, но эта легенда такого рода, что без нее немислим лик, личина города. Вуаль откинута, но что осталось нам сегодня?

Здесь и возникает идея, точнее, образ-символ "физио-гномики Петербурга". В старинном слове "физиогномика", относящемся к области полупонаучной и неопределенной, хорошо воспроизводится сущность города, его двуначального, амбивалентного лика. Появляющийся дефис отделяет "физио" Петербурга от его "логоса", обретающего оболочку "гномики". Физио-логическая жизнь Петербурга течет в сопричастии с Гномоном, Гномом, Гномой... Здесь необходима краткая справка.

Гномон — в греческой эллинистической математике — странная геометрическая фигура, которая образуется, если из нарисованного параллелограмма "вынуть" меньший, подобный ему параллелограмм. Остаток и будет гномоном — оболочкой, обнимающей пустоту. Одновременно гномон — это "знать", "ведать". А еще — простейший прибор для измерения времени.

Гном — в западноевропейской мифологии уродливый карлик, охраняющий подземные сокровища. Но он же, гном, — вполне жизнерадостное и любимое детьми существо, что-то наподобие доброго маленького волшебника.

Гнома — краткое нравоучительное рассуждение, образец афористического слога. Что, впрочем, может быть и тривиальным поучением.

В "физио-гномике Петербурга" работает двойная логика парадокса. Телесность города сопряжена с чем-то ирреальным, "гномическим" /первый парадокс/. Последнее же — само по себе запредельно, воображаемо, уродливо, выражено в краткой поучающей форме безусловной истины — ненавистной и неизбежной одновременно /второй парадокс/.

Краткое, внушительное, неизбежное, временное... Феноменологическая интенция вполне очевидна и — как это обычно бывает — выходит за тесные рамки этимологического изыска. Под, казалось бы, искусственно сконструированным определением явно проглядывает лик Смерти — ужасный и трансцендентальный, нравоучительный и до безумия краткий. Не случайным оказывается и профиль "геометрии смыслов": культурный ландшафт Петербурга формируется как вихрь геометрических лабиринтов, пространств, линий. Ажурные узоры этой геометрии могут быть услышаны и увидены в любом проявлении судьбы города. Я остановлюсь, конечно, лишь на некоторых из них, имеющих для меня особый смысл. И как гоголевский "маленький человек" /гном, пигмей?!/ возможен только в Петербурге, так и тема физиогномики, сменяющая образы физиологические, продуктивна только по отношению к Петербургу, городу странному, потаенному и непокаянному.

Непокаянный город

Петербург принято считать произведением совершенным, завершенным и эстетически целостным. Город-музей, самый красивый город в мире /почти "город-сад"/, "простор меж небом и Невой"... Между тем в архитектуре Петербурга сокрыта целая вереница противоречий и недомолвок. Чего стоит только полулегендарная история с "кривым" Невским проспектом, ломающимся в районе Московского вокзала, хотя задумывался он изначально как прямая "перспектива", связывающая между собой два удобных выхода к Неве. Говорят, прорубая болотистую лесину, проектировщики ошиблись в расчетах... Или же Казанский собор, который должен был представлять собой в окончательном варианте некое подобие римских соборов: напротив нынешнего Казанского планировалось соорудить точно такой же, зеркальное его отражение. "Римский проект", однако, не состоялся. Петербург так и не увидел настоящей классической круглой площади, которая образовалась бы во внутреннем пространстве собора. Не состоялся и другой "итальянский проект", согласно которому нынешние Линии Васильевского острова должны были стать подобием венецианских каналов.

Город "как-то" недостроен, половинчат, хотя внешняя его оболочка не выдает секретов. Геометрические аллюзии становятся поистине многомерными и бесконечными, если обратиться к теме исторических памятников и скульптурных композиций.

"...Если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое неделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену, или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь и здравие государево..., то должен духовник ... донести вскоре о нем" /Из указа Петра Первого от 17 мая 1722 г./.

Прямое требование нарушения тайны исповеди, изреченное государем образованным и богопослушным, не могло не сказаться на судьбе его наследия. Возможно, с этой точки и начитается тот самый "петербургский переворот", который описан Г.Флоровским в

"Путь русского богословия". Тема Петра для города не случайно становится одной из доминирующих. Как будто сама природа Петербурга взрастила антитезу св. Петра, в честь которого назван город, и Петра "земного" — создателя и преобразователя Петербурга.

В городе несколько значимых памятников Петру Первому. Но существуют и памятники-призраки, вовсе даже и не памятники, а память о памятниках. Знаменитая "восковая персона" из эрмитажной коллекции — отблеск двух памятников на Адмиралтейской набережной, выполненных в свое время всеевропейски известным ваятелем Леопольдом Бернштамом и уничтоженных в 1919 году в разгар компании по так называемой "монументальной пропаганде". Облик Петра в своей классической представленности для нас идентифицирован с Медным всадником и памятником у Инженерного замка. Петр — триумфатор, реформатор; Петр, который "Россию поднял на дыбы"; Петр, своим "тяжелозвонким скаканьем по потрясенной мостовой" нарушивший устои и закономерности российской жизни. Триумф ради торжества прогресса, не знающего остановки и жалости. Может ли с этим представлением сочетаться Петр "спасающий рыбаков" и Петр "строющий ботик"? Может ли триумфатор заниматься прозаической, тривиальной работой? И хотя сама смерть Петра связана со спасением тонущих, с помощью страждущим, погибающим — монументальное инобытие его не потерпело почему-то соседства со скульптурами простыми, человеческими, повседневными. Император, построивший "новый Рим", может быть только победителем и триумфатором. Ему не нужно каяться за побочные результаты своего подвижничества, за убитых и умерших. Покаяние не необходимо. Исповедание недопустимо.

Кто это решил? Кто имеет право решать за человека, "за" пределами его земной жизни, кто он был и есть сегодня? Метафизический смысл непокаянности вполне очевиден — как расплата за извращение идеи церковной исповеди, за нарушение той незыблемой основы православной традиции, внутри которой формировался национальный характер. Непокаявшийся Петр — это человек, "за" пределами жизни изумившийся и испугавшийся того противоестественного дела, которое было совершенно "при" жизни. "То должен духовник ... донести". И то, что историческое бытие памятников Петру вписывается в этот совершившийся акт жизненной драмы, подтверждает нераздельность дела, слова и памяти, неотчуждаемых от личности, ее смыслопринадлежности истории.

В 1829 /или 1830/ году Пушкин в рисунке, предвосхищающем поэму "Медный всадник", изображает памятник работы Фальконе. Но на этом рисунке нет Петра: памятник предстает в качестве вздыбившейся на гранитном валуне лошади, попирающей змею. Седло пусто. Петр уходит из истории, чертя непредсказуемые геометрические фигуры по мостовым созданного им Петербурга.

В пушкинском тексте Петр покидает постамент вместе с конем, всадник сеет смерть, но, в конечном счете, воцаряется на прежнем месте. На рисунке все не так. Петра нет, он ушел в небытие (в вечное странствие, в поиски себя?). И даже найдя себя в образе "другого" — у Инженерного замка — он лишь повторяет избитый сюжет триумфатора. Линия "Сенатская площадь — Инженерный замок" — всего лишь линия, безжизненная и безобъемная, мимо которой лежит путь не только сгинувших фигур на Адмиралтейской набережной, но даже и "восковая персона" (воск все же более "человеческий", теплый и осязаемый материал). Геометрия смыслов не может возникнуть здесь, как невозможна жизненная, многомерная наполненность пустого пространства, сведенного к прямой линии. Символ непокаяния обращается в отсутствие пространства жизни, омертвелость прямой, пересекающей центр города. Прямая не может "зацепиться" за соседний памятник, что на Исаакиевской площади /Николаю Первому/, ибо это тоже

тип триумфатора, но уже приближенного к нормам века 19-го. А что касается века 20-го, то нет уже на Знаменской площади легендарного творения Паоло Трубецкого /памятник Александру Третьему/, как бы навечно упрятанного в створы дворика Русского музея, нет и великолепного, вполне "человеческого" памятника Великому князю Николаю Николаевичу-старшему на Манежной площади. Триумфаторство /в любом лице — революционном, реформаторском, личностном/ сметает все на своем пути и оставляет после себя пустыню смерти в лице иллюзорной жизни — лице Петербурга. Культурный ландшафт города требует покаяния, взывает к нему. Ибо должен быть выход за пределы двойников смерти.

Либо жизнь города будет представлять тот самый смертоносный гномон, из которого вынута жизнь, либо геометрическая фигура смерти замкнется в своем ином, в своем отрицании, в жизни, в обновленной жизненности, "физио-логичности", самости.

В отношении непокаянной фигуры Петра такой акт состоялся в тот момент, когда во внутреннем пространстве Петропавловской крепости появился иной по своему решению памятник Петру, памятник работы Михаила Шемякина. В спорах и улюлюканиях по поводу "неправедного эпатажа", в возгласах восхищения и преклонения потонула, по моему, главная идея памятника, если рассматривать последний в зримом контексте исторической судьбы города. А именно идея состоявшейся исповеди. Приближенная к нормальным человеческим размерам, близкая в чисто физическом смысле фигура сидящего Петра воплощает в себе покаяние духа, раскаяние. И даже возможная чрезмерность субъективации такого впечатления не может нарушить очевидного. Петр-человек, так напоминающий по внутренней психологической интенции уничтоженные скульптуры на Адмиралтейской набережной, зовет к эмоциям вполне земным и понятным.

Дети, взбирающиеся на колени Петра, вызывают ужас у музейных работников и негодование у зрителей-наблюдателей, блюстителей "чистоты стиля". На самом деле дети просто следуют нормальному человеческому инстинкту: "добрый Петр", как близкий друг, покровитель, духовник, будит чувства радостные и уж во всяком случае искренние. Разнообразные разговоры о "монстре" с "хищными пальцами", которые почему-то ведут чаще всего самые-самые патриотические патриоты, в точном соответствии с фрейдистской трактовкой выдают лишь мир души начинателей этих разговоров, слишком далеких от предмета разговора, чтобы этот "их" разговор вообще можно было бы считать разговором. Удивительное лицо Петра, весь облик императора замыкает треугольник, начинающийся на Сенатской, проходящий незримой линией через Инженерный замок и наконец-то заверченный внутри Петропавловской крепости. Образ непреодолимой смерти находит свою антитезу. Жизнь продолжается.

В геометрических ландшафтах Петербурга не только с темой Петра связана идея синтеза жизни и смерти. Интересны, например, двойники пушкинской темы. В Петербурге существовали два "традиционно" значимых памятника поэту — знаменитый аникушенский у Русского музея и менее известный — в вестибюле станции метро "Пушкинская". Оба воплощают идею жизненности, света, творчества. "Юбилейный" Пушкин впитан многими с детства и, вроде бы, что еще может вписаться в петербургский ландшафт, как не такой Пушкин. Геометрическое замыкание пушкинской темы все же произошло, но совсем недавно, когда появился памятник у Черной речки /тоже на станции метро/. Пушкин смятенный, глядящий в запредельное и тоже исповедующийся, завершает фигуру жизни, отнятую у гномона смерти. И то, что в свое время Биржевая площадь, стрелка Васильевского острова "не приняли" традиционный образ поэта, отторгнули как деталь ненужную, лишнюю, в исторической ретроспективе приобретает особый смысл. Уходит в прошлое "Пушкинская площадь", никогда таковой

и не бывшая. А неприметная стелла на предполагаемом месте дуэли совмещается в нашем сознании с трагическим памятником. Символ Черной речки впервые становится подлинной частью культурно-исторического ландшафта города.

Много было сказано о симфонизме петербургской архитектуры. На мой взгляд, симфонизм этот особого рода. В городе есть несколько поистине смертогенных точек, в которых начинается то или иное историческое событие. Объединение таких точек в некое единое целое дает пищу для размышлений. Уже упомянутый выше "кривой" Невский в месте своего разлома блистает новоявленным монументом /из серии питерских "самесок"/, и мало кто уже сегодня помнит, что здесь стоял когда-то шедевр Паоло Трубецкого. В окончании же своем Невский соприкасается не только с Некрополем Александро-Невской лавры, примирившим под своей сенью Чайковского и Мусоргского, финал 6-й симфонии с "Песнями и плясками смерти", но и с обычным церковным кладбищем той же Лавры, где похоронены люди известные, но где почему-то практически отсутствуют могилы 37-38 гг. Смерти нет именно там и тогда, когда она есть.

Рядом с Казанским собором — Спас-на-Крови — одна из нескончаемых тем в трагической симфонии цареубийств. Чуть дальше — тайна Инженерного замка, где триумфатор Петр обернулся спиной и не видит смерти своего правнука. И смерть самого Петра. Сбылся трагический прогноз Д.Мережковского, прогноз 1904 года, когда писал он о Петре: "Кровь сына, кровь русских царей ты первый на плаху прольешь — и падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род ваш в крови. За тебя накажет Бог Россию!"... Виноват ли Петербург? Не знаю.

Петербург и Москва

В русской истории передача статуса столицы от Москвы Петербургу, как это не парадоксально, — факт малопримечательный, маловыразительный и почти никак не отразившийся на "ментальности" Москвы. Это сегодня модно говорить: "большая провинция"; имидж великого столичного города от Москвы вряд ли вообще когда-нибудь "изымался". Можно поймать себя на мысли, что когда Л.Толстой описывает Бородинскую битву и последующую цепь событий вплоть до изгнания Наполеона, в нашем сознании все эти факты вполне соответствуют внутреннему чувству — врагу сдается столица, горит столица, Наполеон бежит из Москвы — матери городов русских /столицы!/. Наполеон вошел в столичный Кремль и потерпел в столице свое фиаско. Петербург, до которого Наполеон не дошел /к которому, точнее, по разным причинам он вообще не пошел/ в этом контексте приобретает статус "большого города" — вполне окраинного, хотя и величественного. Почему так? Только ли географический, морально-политический или же военные факторы играют здесь роль?

Я думаю, метафизический смысл произошедшего гораздо более глубок. Если строить рассуждения по уже намеченному антитетическому противопоставлению, то можно сказать, например, так. Москва — исконный город жизни. Даже разрушенная реальной смертью — будь то нашествие татар или же Наполеона — она все равно предназначена жизни. Город по своему устройству и строю жизнерадостен, он впитывает жизнь, несмотря на смертельность муки. После подвижничества Сергея Радонежского и величия Куликова поля Москва вновь разрушается татарами. И вновь отстраивается — живет, как бы не замечая "убыли и томления" смерти, как бы отрезая саму возможность окончательной гибели. Уже при Иване Четвертом Москва была разрушена и сожжена в очередной раз — но вновь, почти незаметно для истории, возродилась из пепла. И пожар 1812 года, уничтоживший ценнейшие библиотеки, рукописи, в том числе и подлинный

свод "Слова о полку Игореве", не нарушил этого постоянства образа Москвы, ее равновесия-в-жизни. Как продолжает жить "Слово", продолжает жить в истории, так делом истории является и факт жизненности Москвы. Возвращение Москве большевиками статуса официальной столицы воспринимается как вполне закономерное явление, не вызывающее никакого внутреннего протеста, вне всякой формальной зависимости от исторической подоплеки и революционной мути. Вечная жизненность Москвы просто взяла свое, подтвердив то, что было уготовано самой историей.

Можно посмотреть на этот вопрос и по-другому. "Смутное время" принесло Москве плач и разорение. Но что было исходом, заключившим историческую драму? Именно в Москве в 1613 году на престол взшел первый из Романовых, Михаил. Смерть была поправа жизнью, и почти столетие русской истории, следующее за этой датой, воспринимается нами как вполне закономерный, "предустановленный" период.

Петр перенес столицу в Петербург. С этого момента начинается свое скольжение роковое крыло смерти, нависшее над родом Романовых. В Петербурге свершается казнь над Алексеем. Здесь же умирают почти все дети Петра и Екатерины, в том числе и наследник Петр Петрович — в возрасте четырех лет. Вся эта непредсказуемая цепочка трагедий завершилась известными решениями по поводу порядка престолонаследия, введенными Россией в период дворцовых переворотов и "женского правления". Гибель династии началась именно в Петербурге, не в Москве, где подавление стрельческих бунтов и высылка Софьи Алексеевны все же еще не читаются как дела "смертные".

Образ светлой столицы, рая, "парадиза" — образ вымышленный, выдающий скорее желаемое за действительное. Петербург начинается на крови своих строителей; в мрачном синтезе с угрюмым и промозглым климатом рождается вечная тень смерти. Жизнь города началась как бы в полном соответствии с евангельскими предначертаниями — смерть поправа смерть, но жизнь, родившаяся здесь, не могла стать жизнью вечною. Она изначально явила болезнь к смерти, предстала жизнью, стремящейся к смерти. В православной литургии библейские слова о "попрании смерти" произносятся так: "Христос воскрес из смерти, смертью смерть поправ". Такого воскресения — через смерть смерти — в случае Петербурга нет. Вечность жизни города ирреальна, немыслима, запредельна. Крещендо исторического облика города, когда по нарастающей наслаиваются года, десятилетия и столетия, слышится как гимн непобедимой смерти.

Город никогда не был под властью завоевателя. Этим можно и нужно гордиться. Сегодня на месте Петербурга в лучшем случае стоял бы совершенно другой город. Восстановить, "отстроить" Петербург было бы невозможно. К счастью, до этого не дошло, но случилось другое. Сам символ ленинградской блокады — это символ беспредельного нашествия смерти, постепенно, шаг за шагом забирающей в свои объятия остатки жизненности. Жизнь в конечном итоге победила, но цена этой победы была поистине ценой смерти. В блокадном ужасе произошло удивительно точное воспроизводство образа смертной жизни, так характерного для исторической и культурной судьбы Петербурга.

В противоположность Петербургу Москва — это вечная жизненность в ее истории. Если петербургская "блокада-смерть" обнажает терпение и муку, страдание и боль, рождающиеся ради прозрачной жизни, то в Москве смерть и разорение ведут к новой, еще более яркой и красочной жизни. Москва олицетворяет вечную цельность и самобытность русской культуры, "сердце" России, ее "женское" начало. Светлый облик Москвы принципиально противостоит "европеизированному уму" Петербурга. Восприятие последнего как столицы государства российского всегда характеризовалось коренным своеобычием. Петербург — этот "ум России" — никогда не был, да и не мог быть ее "сердцем", даже если говорить об обычных географических измерениях. Когда

мы сегодня читаем воспоминания о старой Москве, они воспринимаются чаще всего как тексты о столице. И здесь дело не в отсутствии петербургского "столичного гонора", а во вполне осязаемом факте: именно Москва, никак не Петербург, навсегда "мать городов русских". Впрочем, и все разговоры о питерском снобизме, холодности, высокомерии по отношению к Москве, на мой взгляд, существуют совсем в иной системе координат, чем та, которую подсказывает тема "двух столиц", предстоящих перед лицом Жизни и Смерти.

Петербург Гоголя и Достоевского, Петербург Андрея Белого и Александра Блока — это город, страдающий болезнью неистребимой. Но болезнь эта не есть болезнь уязвленного самолюбия, болезнь "духа". Смерть обретает вполне зримую телесность и как альтер-эго, и как "второе тело" города: она формирует ландшафт, культуру, "маленького" человека и "большого" начальника. Великолепная метафора Пушкина ("И перед новою столицей померкла старая Москва..."), на мой взгляд, не просто не точна. Она составлена по принципу противопоставления "яви" трагедии-смерти и "сна" великого города жизни, только вот реальность переворачивает пушкинский образ. Он скорее соответствует замыслу самого Петра, по воле которого Петербург должен был стать городом жизни. Но в истории таковым остается Москва. Петербург — город-сон, город-воображение, город-сумрак, город-туман... Город, несущий смерть и смертью живущий.

Отдельная тема — "Москва — третий Рим". Невозможно представить Петербург в тоге "Третьего Рима". Дело не в утерянном средневековье, а в менталитете, заявленном и явленном в его истории. Ю.Лотман справедливо говорит о том, что семиотическое соотнесение с идеей "Москва — третий Рим" сказывается, порой весьма неожиданно, в некоторых аспектах архитектуры Петербурга, в опыте его строительства и в самом факте перенесения столицы из Москвы. Но спор, в который вступил Петербург за право исторического наследия с Римом католическим, был изначально им проигран. Может быть поэтому так парадоксально, непонятно и неприятно "вписывается" сегодня в его ландшафт протестантская проповедь. За нею — образ Петра, но не царя-строителя и преобразователя, "спасающего" и "исповедующегося", но царя-монстра и душегубца, который проповедует д о исповеди, д о покаяния, образ того человека, который призраком является нам с последних страниц "Епифанских шлюзов" Андрея Платонова.

Вообще Петербург — город как бы и без истории вовсе, поскольку история России двух-трех последних столетий — это история только Российской империи. Петербург, возможно, приял на себя "грехи империи", и в этом смысле — все грехи Первого и Второго Рима. И даже Третьего — самой Москвы. Но особенно Первого языческого и неправославного.

Из багряных камильниц рогатых колонн
вырывается в небо ликующий пламень.
Перевитый чугуною цепью времен,
город-призрак возложен на жертвенный камень.

Олег Малевич

Невозможна в Петербурге классическая круглая "римская площадь"...

"Черный Пес Петербург"

Мне кажется, что тема метафизических горизонтов образа Петербурга не может быть не просто осмыслена, но даже поставлена без обращения к опыту русского поэтического слова двадцатого века, так мощно и непредсказуемо перевернувшего

привычные представления. "Коперникианский переворот", совершенный здесь, ведет, пожалуй, начало от тургеневского и чеховского предчувствия, так точно воплотившегося — у каждого по-своему — в их жизненной судьбе.

Русский поэт всегда умирает в Петербурге, даже если он умирает в Париже. Тайна слова не терпит суеты: Петербург как бы специально предназначен, чтобы стать усыпальницей "русских мальчиков", поэтов, — небесных ангелов и земных странников России. Эта метафизическая доминанта, как связующая струна времени, чуть ли не через век после грандиозных пророчеств "Медного всадника" и первой смерти Поэта, терзает творящих "слово" и воссоздает одну из главных физио-гномических интенций Петербурга, его поэтический Текст.

В корпусе русской поэзии века двадцатого символ смертности, обреченности, "мертвости" сопровождает Петербург с постоянством рока. Перемежение идей исповеди /покаяния/, памятника /памяти уничтоженной/, измены, сна составляет, пожалуй, одну из самых характерных черт стихов, посвященных Петербургу. Интересны, например, смещенные смысловые акценты, относящиеся к символике желтого цвета. В большинстве случаев желтый цвет приобретает смысл и значение вполне "архаическое": измена, предтеча гибели, ночь. При этом очевидные ассоциации, связанные со значением желтого цвета в облике Петербурга /дворцы и набережные, Петропавловская крепость и Адмиралтейство/, ассоциации светоносной жизни, оказываются вторичными, неглавными. В цикле стихотворений 1912 года с многозначным названием "Песни смерти" А.Блок обозначает тему:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет...

Двумя годами раньше Иннокентий Анненский пишет:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Знаю только, что крепко мы слиты.

. . .

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета!

Даже Нева, казалось бы, очевидно читаемая как "река жизни", смывающая наносное с лика города, очищающая и спасающая его в буйстве наводнений, трансформируется в "буро-желтый" поток, ассоциируется с прямым фактом убийства, казни. Та же тема сквозит в "Петербургских строфах" О.Мандельштама /1916 г./, хотя аура торжественной строгости желтого цвета здесь еще сохраняется:

А над Невой — посольство полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства крепкая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного неба —

Онегина старинная тоска;
На площади сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

А вот отрывок из написанного примерно в это же время стихотворения "Петербург"
Михаила Лозинского:

Здесь утра трудны и туманны,
И все во льду и все молчит.
Но свет торжественный и бранный
В тревожном воздухе скользит...

Все эти образы предстают инверсиями, тревожными аллюзиями темы гоголевского Петербурга с его таинственным вечерним временем, "когда лампы дают всему какой-то заманчивый чудесный свет". Тайное становится явью; смертное даже в красках жизни остается смертным. З.Гиппиус в своем "Петербурге" обращает иллюзорный желтый цвет, цвет "бездвижности пустынь", в пепельно-черные тона смерти:

Твой остов прям, твой облик жесток,
Шершаво-пыльный сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.
Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье — смерть и тленье,
А воды — горькая полынь...
Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг.
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.

Как трагическое завершение темы, завершение не в смысле исчерпанности поэтического слова, но в прямом значении нахлынувшего и ледящего тело и душу, сердце и ум томления смерти, звучат пронзительные строки О.Мандельштама. Самим фактом названия этого удивительного стихотворения — "Ленинград" /ведь речь в нем идет о пока еще живом Петербурге/ поэт отрицает, обрывает возможность вечности:

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов мои номера.

Петербург. У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Это написано в 1930 году, но смысл произнесенного слова отражается в цветовой гамме желтого цвета из далекого, уже далекого! — по времени — блоковского предчувствия.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей...

Символика смерти замыкает и тему памяти. Только здесь, на этой земле, могла родиться трагедия смыслов ахматовского "Реквиема", в котором музыка стиха вырастает из оков еще одной смертогенной точки города, вмещающей в свое бесконечное пространство и страшную тюрьму, и гладь невских вод:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забить гроыхание черных марусь,

Забить, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и каменных век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Композитор Владимир Дашкевич сочинил для ахматовских стихов удивительную музыку. Траурная тема финала "Реквиема" использована им и в другом месте, в музыке к фильму "Собачье сердце" по Михаилу Булгакову. Пронзительное предчувствие, как отголосок двух одновременных трагедий, составляющих единое целое — историческая мистерия, выраженная в музыке, самом вневременном из всех временных искусств. Судьба как приход и уход — в вечной непредсказуемости смерти. И опять Иннокентий Анненский:

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени
Там не чара весенней мечты,

Там отравя бесплодных хотений.

Завершается и тема Петра. Будут ли когда-нибудь написаны стихи о состоявшемся раскаянии? Но строки о не-раскаянии и смерти написаны уже, здесь, в начале века. Как предупреждение. Как состоявшийся опыт поколений. Как выражение своего-и-иного бытия Петербурга. Как завещание и надежда.

И, мертвый у руля, твой кормчий неуклонный,
Пронизан счастьем чудовищного сна,
Ведя свой верный путь, в дали окровавленной
Читает знаменья и видит письмена.

Мих. Лозинский. "Петроград", 1916 г.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол...
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь,
Да сознание проклятой ошибки.

Инн. Анненский. "Петербург", 1910 г.

В этом же стихотворении есть две строчки совершенно уникальные, непостижимые, пророчество сбывшееся и запечатленное Михаилом Шемякиным:

В темных лаврах гигант на скале, -
Завтра станет ребячьей забавой...

Поэт говорит и думает о трагедии, а предсказывает свет и покаяние.
Связь времен? Судьба? Петербург...

* * *

Черный Пес Петербург,
Я слышу твой голос
В мертвых парадных
В хрипах звонков...

Этот зверь никогда никуда не спешил,
Эта ночь никого ни к кому не зовет.
Черный Пес Петербург — рассыпанный порох...

Ю.Шевчук, 1991 г.

"САЙГОН" И "СЛОНЫ" — ИНСТИТУТЫ ЭМАНСИПАЦИИ?

Борис Марков

Великие идеи, всеобщие условия познания, предельные основания культуры — вот на что ориентирована философия. Их природа парадоксальна: с одной стороны, они — имманентные самому знанию идеи, а с другой — оказываются чем-то чуждым, так как не поддаются привычным способам обоснования. Наподобие ума или глупости, они просто даны и никакие опыт, образование, просвещение не способны их восполнить. Поэтому в актах идеации есть что-то чудесное: увидев мертвеца, больного и нищего, Будда сразу понял суть человеческой жизни; идиот же, которого в порядке эксперимента поцеловала женщина, сказал: мокро и невкусно. Так в "круг понимания" трудно войти, а не выйти из него. Неудивительно, что философ мнит себя демиургом истории: люди в кепках не мыслят, а лишь мультиплицируют открытые исполинами мысли идеи, которые определяют вопросы и сомнения, поступки и решения.

Все это было бы бесспорно, если бы идеи осуществлялись в истории, в которой случается, как правило, то, чего никто не хотел. И даже если причиной этого являются люди, вынужденные руководствоваться не идеями, а обстоятельствами, то это лишний раз свидетельствует о гетерогенности интеллектуального и духовного опыта, с одной стороны, и исторического свершения, повседневности, с другой. Хотя "сама действительность" всегда дана в тех или иных символических формах, непостижимость "вещи в себе" еще не свидетельствует о приоритете акта понимания. Между прочим, наиболее умные представители трансцендентальной метафизики не страдали амбициозностью и считали, что философия ничего не меняет в мире; все, кроме понимания, остается на своих местах. Употребляя современный сленг, можно сказать, что едет только "крыша", а мир бытийствует, как был.

Человек производит не только понятия, но и вещи, он является переживающим и действующим существом, помещенным в мир реальных взаимодействий, усложнение ткани которых представляется гораздо более важным по своим эмансипирующим последствиям процессом, чем грезы, фантазии и идеи, культивируемые в уединении. Поэтому было бы неправильно в вопросе о роли философии в освобождении людей ограничиваться исключительно реконструкцией истории идей. Идея свободы — это, несомненно, великое достижение человека, однако не надо впадать в эйфорию, подобную гегельянствующим марксистам, один из которых заявлял, что товарищ Тельман, хотя и находится в тюрьме, однако, владея революционной теорией, является свободным. В этом гегелевском пафосе есть нечто, внушающее уважение, однако, как известно из истории концентрационных лагерей, даже просвещенного человека можно сделать рабом и равнодушным путем редукции форм жизни ко все более животному образному. Нельзя забывать о том, что философия, свобода, диалог, понимание и т.п. могут осуществляться только в здоровом, не деформированном обществе, иначе идеология как патогенный вирус, поражает любые формы культуры. Поэтому в центре внимания должны быть не только идеи, но и зоны их бытования: люди должны создавать места для интеллектуальной, духовной, психической и социальной эмансипации. Эволюция социального пространства, организация частных и публичных зон обитания человека являются составной частью цивилизационного процесса. В основном он контролируется и регулируется институтами власти, которые стремятся управлять и телом и душой человека, внедряются во все сферы жизни. Освобождение включает в себя не только критику идеологии и производство новых идей, но и гуманизацию институтов общества, отвоевание мест в социальном пространстве, где свободная от принуждения

общественность могла бы обсуждать жизненные проблемы, сообща вырабатывать ориентации будущего развития, осмыслять опыт прошлого и ценность традиций.

"Слоны" — название разливочной, кажется, на Петроградской. Топчутся отяжелевшие от вина люди, кружится перед глазами разноцветный мир, кружится причудливая мысль, повторяется один и тот же вопрос: а ты меня понимаешь?

"Сайгон" — название известной кофейни на Невском. Слово нерусское, но что-то родное слышится в нем. Сайгон... созвездие гончих псов, притон; единство "верха" и "низа". Суховатые, смугло-бледные субъекты молча впитывают крохотные порции крепчайшего кофе; скученные вокруг узких высоких столов, они не видят друг друга, взгляд их устремлен в вечность.

Как тепло, хлвно в желудке у пьяницы, как четко очерчена его мысль, как яркие краски его восприятия. Близорукий, но хорошо "взявший на грудь" субъект может и без очков отчетливо видеть лица женщин и номера трамваев. Алкоголь хоть и горек, зато плоды его сладки. Сладчайшая любовь ко всему живому поначалу столь сильно пронзает сердце пьющего, что в его теплых и участливых глазах светится готовность слушать и плакать, сострадать и соучаствовать. Алкоголь — это сопричастность к абсолютному, и поэтому пьют не ради вина, а ради того, чтобы воспарить ввысь и остро ощутить истину кажущегося посторонним банальным разговором на троих, чтобы потом плавно опуститься в лоно матери-земли и замереть, успокоиться в сладкой истоме.

Ментальность кофейного человека скручена и напряжена, как стальная пружина, его мозг работает как Сатана, тело гибко, а мышцы упруги. Все это рассыпается, когда проходит действие кофеина. Любитель кофе, хоть и рассуждает о вкусе, способах приготовления кофе, не является гастрономом. Он послан с иной миссией и призван иной страстью. Его стихия — мысль; жажда мысли сжигает его душу и тело.

Человек не только мыслящее, но и страдающее существо. Даже его мысли имеют телесный облик и, как дети или уродцы, образуют свой фантастический мир, который не сводится к логике и фигурам дискурса. Чтобы выразить свою мысль в дискурсивной форме, нужно избавиться от страдания, которое толкает к молчанию. Напиток расслабляет и расковывает, и пьяница, как медиум, нередко свободно и красиво говорит. Одиноким смертникам за стойкой, за письменным столом потягивают возбуждающие средства, чтобы обострить способность говорить и писать. Сжигая себя, они выражают удивительные мысли и образы. Рюмка вина или чашка кофе, выпитые не для того, чтобы кое-как доползти до дома после оупляющего трудового дня, имеют странный метафизический привкус, они причащают к абсолютному. Поэтому приходится пить и много и часто. В этом есть что-то ностальгическое: обостренному зрению пьющего предстает божественный театр, который он стремится описать на бумаге или рассказать в словах.

Есть овраги и болота, сумрачные места в лесу, где укрываются хищники. Нормальный человек должен сторониться их. И все-таки бездна притягивает, манит к себе темный омут. Люди пускаются в опасные предприятия, повинувшись мощному инстинкту смерти, который требует: все или ничего. Но даже люди, пережившие опыт запоя, не могут сообщить что-либо вразумительное об этом могущественном инстинкте. Он символизирует косвенно на разных уровнях; по-разному пишутся драмы тела, души, духа. Поэтому следует научиться читать то, что говорит нам пьющий своим лицом, жестами, манерами, речами и рассуждениями, что выражает абсурдный театр его фантазий и образов.

Не имеющие опыта питья пытаются писать о нем в силу подозрения и зависти; не переживает ли алкоголик нечто вроде того, что описывал Достоевский: перед припадком падушей наступает особое краткое состояние абсолютной ясности сознания, которое

затем сменяется припадком. В этом подозрении раскрывается глубина поражения установкой на мысль. Непрестанное напряжение мозга, сатанинская пляска идей и тяжелый камень в душе от усталости — вот чем отягощен человек, отравляющий свои внутренности алкоголем. Мысль действует как Сирена: сначала заманивает к чужим берегам, а потом уничтожает. Может быть, одной из причин пьянства среди интеллектуалов, помимо комплекса вины, является исихастская установка на мысль: сначала ищут откровения, потом, когда оно становится нестерпимым, — забвения. Это круто. Разве можно без мысли? Можно ли, не разворачивая ментальную драму, просто говорить и писать? Как бы то ни было, часто пьют кофе и алкоголь для стимуляции мышления, от нетерпения и в надежде на откровение, от ожидания легкого пути перевода ментальных состояний в дискурсивную плоскость.

Несомненно и то, что употребление возбуждающих напитков связано с телесностью. Молодой и здоровый человек в сущности не нуждается в алкоголе, он весел, если не испытывает голода или усталости. Однако медики говорят о врожденном пристрастии некоторых личностей к спиртному: дети алкоголиков требуют не молока, а кое-чего покрепче. Наше тело уже не принадлежит нам, оно сформировано культурой, например, древними практиками достижения группового единства при посредстве коллективного опьянения. В современном мире трудно жить трезвым. Не только тираны, палачи, работники боен, интеллектуалы, но и представители мирных, механических, отупляющих душу и тело профессий не могут не пить. Причины пьянства слишком хорошо известны, и не стоит морализировать, проявлять благородный гнев, вообще красиво обличать. Такие речи вызывают лишь чувство удовольствия и удовлетворения, что кто-то протестует и борется с пьянством. На самом деле — это способ замалчивания драмы алкоголизма и быть может лучше всего предоставить слово самим пьяницам; нет, не их подчас патетическим и красивым речам о чем-то возвышенном, а тем, остающимся скрытыми, символам, которые сообщают правду о субъекте. Пьяница, ведущий разрушительный образ жизни, чаще всего умерен и морален в своих речах. Алкоголизм молчалив потому, что не имеет своего дискурса, он — медиум, который сам желает оставаться невидимым. Но мы видим отекающее лицо, отяжелевшую походку, наконец, белую горячку, и этим некрасивым, неприличным языком говорит сам о себе алкоголик. Сегодня этот язык в загоне: пьяных подбирают и изолируют, больные томятся и умирают в больницах. Современный человек боится языков болезни, смерти, отчаяния. Изгнав правду, он впадает в иллюзии и становится жертвой обмана. Светятся яркие витрины, работают кофейни и рюмочные, героин экранов поглощают спиртное и отправляются на подвиги. Говорят, если закрыть питейные заведения, человечество тут же сойдет с ума. Если так, то почему, и что же нам делать?

С одной стороны, любое живое существо приспособляется к порядку окружающей среды и формируется как открытая система. С другой стороны, постоянные опасности приучают его искать замкнутых пространств, где он чувствует себя в безопасности от ищущего взгляда Другого. Это значимо и для человека на любом уровне его развития. Общественная жизнь требует рационализации чувственности и дисциплины телесности. Сначала это осуществляют палкой и телесным принуждением, затем используют механизм самодисциплины, основанные на чувстве стыда, вины, чести и т.п. Взамен палки применяется изоощренная техника вины и покаяния. Греси, но кайся и будешь прощен — такова формула власти. Не удивительно, что существуют институты морали, суда, общественного мнения, реперезентирующие высшие ценности. Но ведь они предполагают другие институты — места греха и преступлений. Стало быть, питейные заведения имеют не только экономическое, но и культурное значение.

Современный человек — гражданин, патриот, исполнитель социальных ролей подвергает свое тело жестокой перегрузке. Он находится в тисках жестких условностей: манеры, жесты, позы, речи, взгляды — все жестко кодировано и регламентировано. При этом чувствительность интенсифицирована столь значительно, что хмурый взгляд начальника ввергает подчиненного в страх и трепет. Лучше бы он меня побил, думает иная дама, испытывающая бесконечные поучения супруга, страдающая от его маниакальной чистоплотности, педантичности, аккуратности и т.п. Как можно скорее и дальше бежать от невыносимого бремени семейных и общественных обязанностей, думает мужчина, страдающий от необходимости надзирать и наказывать. Наше тело, онемевшее от страданий, ищет выхода: оно учится либо унижать другого, либо испытывать наслаждение от собственных унижений.

Раб, вырвавшийся на свободу, вероятно, был по-настоящему счастлив и предавался необузданным удовольствиям. Сегодня, когда телесное насилие уступило место иным формам принуждения, основанным на внутренней самодисциплине, только притупив бдительность внутреннего цензора, человек может стать раскованным. Не с этим ли связано все усиливающееся потребление алкоголя; из праздничного пьянство становится повседневным.

Пьянство как форма протеста и обретения внутреннего освобождения реализуется через общественные институты. С одной стороны, оно вызвано спонтанным возмущением тела и психики индивида против внутренней саморепрессии; с другой — специально культивируется как форма "выпуска пара", как часть стратегии власти, инкарнирующей виновность. Пристрастие к кофе и алкоголю — это не личное, а серьезное общественное дело, которое никоим образом не может быть пущено на самотек. Пьяницы и наркоманы могут оказаться социально опасными, и поэтому их пороки хотя и искусственно прививаются, тем не менее обставляются различными защитными и нейтрализующими механизмами; порядок возникает и там, где, казалось бы, его не может быть.

Прежде чем опуститься до питейных заведений, человек получает сначала домашнее, а потом и общественное воспитание. Уже в детстве он попадает в первый круг страданий, и тяжелый сапог порядка и дисциплины безжалостно топчет буйную поросль желаний и влечений. При этом они не подавляются, а скорее извращаются, чтобы было за что осуждать и наказывать. Эти круги будут повторяться: сначала родители и няни, потом педагоги и воспитатели, затем духовные наставники и, наконец, врачи затеют слежку, станут применять все более изощренную технику признаний, осуждать желания и одновременно производить их. Это еще не Голгофа. Она — в самосуде и самонаказании. Несчастье ребенка — в том, что его репрессируют взрослые, взрослого — в том, что он осуждает сам себя. Но необходимо, чтобы было за что судить. Пьянство как раз и выступает как одна из ролей азартной и большой игры греха и покаяния. В чем сегодня человек может покаяться сам себе, своим близким, окружающим и, наконец, компетентным органам? Когда нет возможности согрешить, то нет возможности и покаяться. Чтобы подвергнуться процедуре признания, необходимо совершать нечто предосудительное. Поэтому трактовка пьянства как протеста против нестерпимых оков цивилизации вызывает сомнения. Пьяница чем-то подобен порнозвезде, от которой публика ждет вполне определенного образа жизни. Сегодня сила влечений у людей катастрофически убывает, и это сильно беспокоит психиатров: с исчезновением фрейдистских типов им грозит безработица. Поэтому приходится прибегать к алкоголю и медикаментозным средствам для стимуляции влечений, в борьбе с которыми власть может доказать свою необходимость.

Пить и напиваться — это не значит освободиться от оков цивилизации и власти. Бегство в рюмочную мало похоже на попытку животного укрыться в каком-либо укромном месте. Российские люди, в отличие от западных, почти не способны пить в одиночку. Одиночка — это крайняя степень отчаяния, это решимость построить мир без Другого. У нас редко увидишь в кабаке подчеркнуто отчужденного человека, уставившегося застывшим взором в рюмку водки; напротив, тут царит общее оживление, разговор; здесь, как в бане, старшие и младшие, начальники и подчиненные заняты обсуждением сути дела, приобщением к истине. Кофейни и рюмочные — это институты коммуникации.

Кофейни и рюмочные на первый взгляд кажутся вне— и даже антиинституциональными структурами, где возникает не просто гражданское общество (Gesellschaft), но духовная общность (Gemeinschaft). Однако питейные заведения — это все-таки не молитвенный дом. Да, в них валом валит народ, который досрочно выполнил трудовое задание и сохранил остаток энтузиазма, который жаждет общения и обсуждения злободневных проблем. Можно допустить, что это зона психической эмансипации, где собутельники выполняют по очереди роли пациентов и терапевтов. Однако, если имеет место признание, а вместе с ним покаяние, то вряд ли можно говорить об эмансипации.

Питейные заведения необходимы не только для общественной, но и для семейной жизни. Любовь молчалива и безъязыка. Влюбленные только и могут заверять: я тебя люблю и спрашивать: ты любишь меня? Это довольно скучно; любовь — слишком ненадежное основание для общественной жизни и поддержки семьи. Поэтому она реализуется за счет различных норм, правил, гарантий и т.п. Цивилизуя отношения браком, люди могут получать изощренные наслаждения из разнообразных семейных игр: сначала мужчина приходит поздно и навеселе, зато утром берет верх женщина, укрепляющая свою власть испытанным механизмом признания вины: где был, с кем, на какие средства. Парадоксальным образом такая игра вместе с соответствующим дискурсом и его фигурами только укрепляет семейную жизнь.

Необходимо освободиться от чисто негативной оценки рюмочных, кофеен и прочих питейных заведений. Все борются с кабаками, шинками и забегаловками как местами, где расположен земной ад, их отвергают как нечто нецивилизованное и бездуховное. На самом деле это не так, и история питейных заведений обнаруживает их цивилизационный характер и важные последствия в преобразовании человеческого бытия.

История питейных заведений тесно связана с городской жизнью с переходом от публичности к приватности. Наряду с театрами, салонами, клубами, рюмочные и кофейни выступают зонами функционирования частных интересов граждан, развития человеческой индивидуальности. Индивидуальность не является чем-то врожденным или естественно данным; она сравнительно поздний продукт цивилизации, формирующийся на основе специфических институтов и фигур дискурса. Человек всегда идентифицирует себя с чем-то внеличным: с предками, социальной группой, нацией, родиной. Дама, терпеливо просиживающая часы за макияжем, подчинена Моде. Солдат, встающий под пули, отождествляет себя с безумным и храбрым полководцем, защитником Отечества. Без такой идентификации общественная жизнь была бы невозможна. Даже если допустить, что она насильственно интегрируется интересами власти и богатства, то необходимым условием ее сохранения является наличие у населения любви и признания социальных норм как своих собственных. В традиционных обществах идентификация имеет насильственно-принудительный характер и реализуется не на уровне рассуждений,

а — форм жизни: человек одевается, поступает, говорит и т.п. не как захочет, а как требуют нормы его сословия. Это не мы проживаем жизнь, а она проживает нас.

Наше индивидуальное Я реализуется не в нарциссическом самолюбовании, садистской самореализации, инфантильных грезах и иллюзиях, а в коммуникации с Другим, в ходе которой выдвигается и отвоевывается право на индивидуальность. Первоначальной формой коммуникации, где могла быть признанной индивидуальность, где субъект и объект могли быть связанными отношениями любви и нравственного признания, являлась семейная жизнь. Именно дом и семья выступают первоначально пространством реализации приватности в экономическом, социальном и психическом аспектах. Не случайно все поздние попытки эмансипации так или иначе воспроизводят или культивируют семейно-родственные связи любви, дружбы, доверия, сердечности и т.п. Религиозные братства, фаланстеры утопистов, разнообразные современные формы группового единства так или иначе опираются на этос семьи.

История дома, жилища как цивилизационных форм изучена достаточно подробно. Ценность домашнего и частного была осознана в ходе сравнения с тотальными формами публичной жизни Средних веков. Историки архитектуры прежде всего фиксируют существенные особенности организации пространства жилища: замок, дворец с их проходными комнатами открывают, демонстрируют все, даже интимные формы жизни. Не только праздник, но и повседневность были строго ранжированы и подчинены высшему порядку, иерархии категориально систематизированных грехов и добродетелей. Выход короля в окружении подданных, публичная казнь, праздник — это не частные, а общественные акты, демонстрирующие Власть. Точно так же посетители питейных заведений репрезентировали мир зла и дьявольских соблазнов. Если кабак и шинок — это зоны протеста, то и они организованы социальной машиной, которая задает фигуры не только судьи, но и преступника. Не в этой ли средневековой форме функционируют наши "Слоны" и "Сайгоны": неопрятные, заросшие личности производятся специально для того, чтобы на них можно было указать пальцем, как на нечто такое, что ожидает каждого, кто сопротивляется Власти.

Как же осуществляется выход из азартной и вместе с тем уныло-однообразной игры греха и покаяния? По мере расширения ткани общественных взаимодействий, опосредования личного принуждения центрами власти, институализирующими корпус юридических норм, по мере вхождения в городскую жизнь происходят существенные изменения форм жизни. Меняется роль и функции питейных заведений: из значимых мест и притонов они становятся своеобразными институтами коммуникации представителей разных сословий, обсуждающих политические проблемы в связи с личными, теоретические — в связи со смысложизненными. Здесь разворачиваются дискуссии на разнообразные темы, циркулируют новости, оцениваются новинки литературы и искусства, словом, формируется нечто вроде общественного мнения, к которому вынуждены прислушиваться политики и газетчики. В этих заведениях обитают не только представители общественного дискурса, но и осведомители, репортеры, выполняющие роль важного передаточного звена между властью и независимым общественным мнением.

Что такое публика, общественность? Это не толпа или масса, не собрание верующих или представителей гильдии, стимулирующих групповое единство горячительными напитками. Публика обычно ассоциируется с художественной литературой, выставками, театрами, концертами; именно она читает, смотрит, слушает и вместе с тем обсуждает произведения искусства. Именно ее признания ищет художник, и это обстоятельство определяет специфику литературного дискурса, который в форме романа описывает и моделирует приватную жизнь.

Публика и общественность — это нечто противоположное как интимному, так и тайному, придворному. Она формирует независимое общественное мнение, несовпадающее с официальной идеологией. Складывающаяся на почве обсуждения и отстаивания частных интересов, она формирует не столько индивидуальное знание, сколько общий здравый смысл. Ее важное назначение — быть посредником между стратегическими ориентациями власти, экономики, политики, права и жизненными ценностями людей. Благодаря ей, власть становится связанной справедливостью, а нравственные нормы обретают силу общественных установлений, которые не может игнорировать господствующая группа. На основе развития публики и открытого дискурса, соединяющего приватное и общественное, получает выражение и индивидуальность. Античное и средневековое общества не дают достаточно эффективных возможностей для реализации индивидуального Я. Даже нравственные поучения поздних античных авторов, исповеди и покаяния христианских святых интимны и психологичны скорее по форме, чем по содержанию, ибо они направлены к трансцендентному, а не к имманентному, ориентируют на исполнение космических или божественных ценностей. Конечно, познающее, моральное, юридическое и другие Я философии Нового времени — это тоже абстрактные субъекты культуры, однако человеческое содержание получает благодаря им гораздо большее значение, чем в прежних онтологических моделях. Особого прогресса выражения индивидуального достигает буржуазный роман: "Новая Элоиза", "Исповедь" Руссо, "Памела" Ричардсона, "Кларисса" Грандиссона и др. сочинения, написанные в форме писем, выражают принципиально новый уровень становления интимного личностного мира. Пространство для него было создано вне собственно художественного процесса: газеты и журналы, выставки и концерты, а также места собрания обсуждающей новинки искусства публики — кофейни и салоны — все это важные условия возможности становления нового дискурса, вне которого индивидуальность не могла находить себе выражения и оставалась в сфере умолчания, захватывая неясные грезы и фантазии человека.

Реализация индивидуальности по-прежнему связана с пространством дома и семьи. Принцип: мой дом — моя крепость, означает, что у себя дома человек сбрасывает официальную маску и обретает человеческое лицо. Однако в процессе цивилизации государство делает семью объектом политической манипуляции. Семья издавна строилась на основе совместного владения собственностью, скреплялась договором и гарантировалась правом. Частное — это привилегированное, отдельное от общества, отгороженная от других собственность. Отсюда глава семьи — отец, деспот, владелец богатства, репрезентирующий не личные, а семейные блага и привилегии. В буржуазном обществе происходит разделение: власть объективируется в виде формально-всеобщих законов, а дом и семья приватизируются. При этом товарное хозяйство перемещается из домашней сферы в общественную, что приводит к трансформации части хозяйственного этоса в легитимированную форму права. Напротив, сфера интимных отношений высвобождается и составляет основу семейной жизни. Политэкономия и психология становятся наиболее значимыми науками в буржуазном обществе. В связи с этими процессами происходит ускоренное формирование менталитета, основанного на интенсификации романтических чувств. Манеры хорошего общества переносятся из публичной сферы в приватную, дисциплинируют не только внешность и поведение, но и переживания, чувства людей. Важную роль в этом выполняет литература, моделирующая на основе переработки рыцарского этоса новый демократичный и более душевный стиль жизни.

С середины XVII в. европейские города интенсивно открывают кофейни. Они одновременно становятся общественными читальнями. Здесь собирается публика,

свободная от сословных ограничений и одинаково горячо обсуждающая проблемы науки и политики, философии и искусства. Эти дискуссии позволяют иметь и выражать собственное мнение, которое получает общественное признание с точки зрения здравого смысла. Публика довольствуется бесспорным, она устраняет монополию на истину и ориентируется на жизненные ценности. Кофейни и клубы, салоны и читальни становятся инструментом повышения культурного уровня населения, средством распространения информации, а также общественным форумом оценок, с которыми власть уже не может не считаться. Бесчисленные памфлеты, литературные, философские и даже научные сочинения пишутся с учетом того, что будут обсуждаться не только в закрытых учреждениях, но и в собраниях дилетантов и профанов. Это обстоятельство заставляет развивать логическое обоснование, риторику и аргументацию дискурса. Формируется фигура критика, который также не признает привилегированных инстанций, а опирается на рассудок и здравый смысл. Все это выступает мощным рычагом просвещения и эмансипации от теологических и политических давлений со стороны власти.

В процессе развития цивилизации кофейные и рюмочные выделяются от специально создаваемых учреждений для производства грехов, от разного рода зланных мест, куда можно скрыться от жестких общественных норм и предаваться естественным или неестественным удовольствиям. В какой-то мере они становятся зонами коммуникации, столкновения высокого и профанного, научного и практического, политического и жизненного, человеческого, культурного и обыденного. Притоны и прочие антиобщественные заведения — это структуры, поддерживающие репрессивность власти, которая нуждается в образе врага. Рюмочные и кофейни становятся легитимированными местами обитания публики, которая вырабатывает здравый смысл и отстаивает жизненные ценности. Она отличается от толпы, которая повинуетя нерациональным палеосимволическим структурам и кодам, ибо подвергает сомнению и рефлексии те или иные мифологемы власти. В кофейнях и рюмочных формируются эффективные противовесы власти и не только в форме критики официальной идеологии, обсуждения принимаемых законов, но и в форме шуток, анекдотов, юмора, нейтрализующих серьезность, которой требует власть, снимающих психологическую перегрузку, возникающую в процессе общения в официальных местах.

Властные структуры, институты и организации — это формы реализации насилия, одетые в цивилизованные одежды прав, законов, норм и постановлений. Они вырастают на соответствующей экономической и политической почве и до некоторой степени противоречат историческим традициям жизненного мира и общечеловеческим ценностям, выработанным в процессе исторического выживания. Власть и бюрократия опираются на инструментальные, целерациональные действия, определяемые стратегическими установками экономики. В социальной машине человек — винтик, его отчуждение состоит не только в том, что он выполняет чуждые его человеческим стремлениям роли, но и в том, что продукты его труда выступают одновременно средствами закабаления. Создавая науку и технику как средства облегчения жизни, люди попали под власть машинной цивилизации, и теперь она требует такого человека, который бы соответствовал уровню современной технологии. Даже политика оторвана от человеческих ценностей, и взамен вождей, которые единолично принимали решения, преследовали прежде всего собственную выгоду, сегодня мы имеем руководителей, действующих на основе экспертных решений и рекомендаций специалистов. Но эти решения, кажущиеся объективными, на самом деле определяются внешней логикой

социально-экономической машины. Изменилась и структура власти. С исчезновением крупных центров ее монополизации во главе с монархом, она стала невидимой; сегодня невозможно указать на нечто, как субъект власти, никто не принимает единоличных ответственных решений или репрессивных действий. Став невидимой и анонимной, власть оказалась более эффективной и всепроникающей. Парадокс: с одной стороны, нельзя ее увидеть, нельзя узурпировать и объявить себя ее представителем; с другой стороны, буквально все зоны человеческого бытия маркированы, ранжированы, кодифицированы так, что не оставляют свободы даже выбора. Исчезновение репрессивных органов, снижение роли негативных санкций — это объективный факт, не создающий однако даже иллюзии либерализации власти. Исполняемая небрежно, движущаяся со скрипом через пень-колоду, она от этого становится лишь более неуловимой. Любой революционный наскок против нее неэффективен, ибо приводит лишь к смене игроков, которые борются за приоритет, не меняя правил.

Если власть — это цивилизация повседневности, привнесение порядка во все жизненные практики от труда до секса, то что значит протестовать против нее. Раньше революционеры выступали от лица самой справедливости, хотя критиковали монархов всего лишь за нарушение "естественного" права, за личные злоупотребления или неумелые действия. Противники чистой власти идентифицировали ее с идеологией и ставили задачу ее опровержения. В принципе эти задачи можно считать выполненными: уже нет вождей, управляющих государством как собственным подворьем, распались великие идеологии, разделяющие людей на противоположные лагеря. Какова стратегия и тактика человеческой эмансипации сегодня?

Не только вечером, после трудового дня, но и днем улицы больших европейских городов заполнены праздношатающимися людьми, часть которых заглядывает в кофейни, а другая — в рюмочные. Сказать, что это и есть современный способ эмансипации было бы оскорблением для великих революционеров прошлого, предательством идеи Свободы и Справедливости. И все-таки это приходится сделать, несмотря на уважение и почтение к историческим свершениям прошлого. И дело не в том, что раньше за свободу проливали кровь, а сегодня лишь вино и воду. На самом деле последствия повсеместного открытия кофеен и рюмочных более значительны, чем обычно думают. Поистине все великое приходит на голубиных лапках, т.е. неслышно. Прежде всего они задают иной образ жизни; старики осуждают молодежь за "тунеядство", развязные манеры, неопрятную внешность и т.п., но это и есть эффективные формы протеста. Например, известно, что акция декабристов не удалась, но менее известно, что своими эпатажными поступками, манерами, речами, образом жизни они существенно изменили российский менталитет и тем самым подготовили либерализацию властных структур. И современная молодежь, испытывающая скуку от официоза, неучаствующая в борьбе за власть, манкирующая трудом, учебой, наукой, осуществляет своеобразную христианскую революцию против абсолютных ценностей труда, власти, богатства, закона и т.п. В результате "недеяния" образуется свободная экологическая ниша, которая постепенно заполняется новыми жизненными ценностями: разговорами, чтением, объединением в небольшие общины по интересам, производством текстов в виде стихов, манифестов, непонятных литературных сочинений и т.п. Конечно, новации молодых содержат угрозу традиции, и чтобы не распалась связь времен, гетерогенные дискурсы поколений должны коммуницировать между собой.

В связи с изменением форм власти, меняются и формы эмансипации. Либерализация экономической эксплуатации и политического принуждения, реализация власти в форме рекомендаций рационального образа жизни, даваемых специалистами, распространяемых рекламой и прессой, развитие массовой культуры, моделирующей

переживания и чувства людей — все это требует ответной реакции со стороны широкой общественности, культивирующей традиционные ценности жизненного мира. Научно-техническая культура и ценности духовного порядка нуждаются в сохранении и защите. Сегодня наука стала инструментом власти, средством манипуляции природными и человеческими ресурсами. Не свободен от нее и художественный дискурс, который тематизирует и регламентирует сферу интимных душевных переживаний. Стихийная реакция общественности проявляется в антивоенных движениях, в опасениях антигуманных последствий научно-технического прогресса, в поисках иных форм разума, не связанного с технической целерациональностью. Задача философии состоит во внесении элемента рефлексии в эти стихийные формы эмансипации, в коммуникации различных групп общественности; в историческом научении на опыте прошлого, в соединении научно-технической культуры с ценностями жизненного мира.

Если почвой философии является свободная от давлений власти общественность, то она должна участвовать в процессе ее формирования и не только с кафедры, но и в местах обыденного общения. Сегодня мы сталкиваемся с тем странным обстоятельством, что за прошедший период философами не было не то что опубликовано, но и написано ничего значительного. Такая несправедливая оценка вызвана тем, что профессиональная философия перестала быть учителем жизни и не дает прямых ответов на вопросы о смысле человеческого существования. То, что философия избавляется от пророческих функций — это очень важный акт ее эмансипации. Да, сегодня нужны люди, способные дать советы как жить спокойно и счастливо. Но наряду с такими инструментальными рецептами необходимы фундаментальные исследования о том, как понимаются сегодня счастье и спокойствие, т.е. обсуждение таких предпосылок, в рамках которых возможны как вопросы, так и ответы. Точно также обстоит дело с научными, технологическими и политическими исследованиями. Они осуществляются узкими специалистами, которые уже не понимают языка даже своих коллег, работающих в смежных областях. Чтобы профессиональные исследования и размышления профанов о жизненных ценностях, обеспечивающих существование, не противоречили друг другу, необходима коммуникация в структурах общественности, и для этого могли бы быть шире использованы разного рода популярные издания. Однако для жизни необходима коммуникация не только текстов, но и людей, ибо живое общение выступает единственно возможным способом сохранения и развития культуры. Культура и образование не сводятся к передаче информации, а предполагают формирование личностного мира — вкуса, такта, манер, переживаний, духовного опыта, которые передаются специфическим способом наставлений и поучений, обращенных к душе.

Таким обращениям не место в аудиториях и они реализуются по-иному. Когда коллега по работе с сожалением говорит: мы с тобой ни разу не посидели, он сожалеет о чем-то странном. Ну хорошо, зашли и посидели, но ведь ничего значительного сказано не было. Да, возникла некая душевность, проявлена сопричастность к высоким ценностям нравственной справедливости, но какие последствия имело все это, рационально непостижимо.

Может быть, кофейни и рюмочные выступают лишь своеобразными заповедниками, где сохраняются и воспроизводятся человеческие душевные чувства добра, любви, прощения, доверия, нравственной солидарности. Здесь собираются люди, сбросившие, хотя бы на миг, ролевые обязанности. При этом они не просто "заливают за галстук" и тем самым разрушают своим обликом, небрежностью, речью официальные требования, но и осуществляют коррекцию своего внутреннего мира, избавляясь от страха уронить себя в глазах окружающих. В зонах, непросматриваемых начальством или семейным деспотом, люди могут говорить по-человечески, а алкоголь развязывает язык и

освобождает от жесткой самоцензуры. Даже если, как это часто бывает у нас, речь идет о работе, то она служит инструментом рефлексии и критики существующего положения дел. Здесь высмеиваются и отвергаются узкие догмы, застывшие предрассудки; здесь формируется неангажированный дискурс свободной общественности, нейтрализующий ложь и идеологические aberrации; здесь освобождаются душевные чувства и берут верх жизненные ценности.

Кофейни и рюмочные непреодолимы, попытка их закрытия вызвала бы непредсказуемые последствия и всеобщий протест. И не только оттого, что они являются эффективным способом снятия микрострессов. Эти заведения выполняют позитивные функции организации свободной общественности, ее сомнений и интересов, ценностей и установок. Власть держит людей в состоянии страха или серьезности, требует ответственности, точности и пунктуальности. В питейных заведениях царят веселье и шутки субъектов, сбросивших узы дисциплины и угодливости. И хотя в реальности они чаще всего выступают лишь дополнением и продолжением присутствия, местами проклятий и озлобленности угнетенных людей, в идеале они могут стать зонами обитания свободной от принуждения общественности, в рамках которой ученый и профан, мудрец и гуляка, политический деятель и любитель анекдотов могли бы совместно обсуждать, корректировать и планировать стратегические ориентации развития, творить новые формы жизни.

© Б. Марков, 1993

ГОРОД-ИСПЫТАНИЕ

Георгий Тульчинский

То, что этот город стал Санкт-Петербургом — новая реальность, требующая не столько привыкания, сколько осмысления. Возврат ли это? И возможен ли простой возврат? Ведь город прошел конкретный исторический путь и сюжет этого пути сказался не только в "материи" реального города — его размерах, планировке, зданиях и т.д., но и в духовном содержании его имени. Разве не парадокс? Ведь имена собственные не имеют смысла — они либо есть, либо их просто нет. А у этого города имя всегда не просто имело смысл, а светилось и святилось всегда. И самое главное — этот смысл развивался. Не имена, а смысл! Смена имен лишь отражала это развитие.

Лично я уже давно поймал себя на ощущении — живу в городе без названия. Не то, чтобы у него не было имени — как раз имен-то даже переизбыток. Но ни одно из них, кроме, пожалуй, сленгового "Питер" не может быть отнесено к городу в целом — как во времени (истории), так даже в его пространстве. Город (назовем его простоты ради — П.) постоянно уходит от своего имени, уклоняется от идентификации, предпочитая быть то ли инкогнито, то ли самозванцем.

Такое впечатление, что имеется нечто, живущее своей отдельной духовной жизнью. Что это? Миф? "Душа"? Идея города? Ясно, что нечто нематериальное, способное, тем не менее, менять понимание, осмысление и восприятие материальной — ландшафтной и архитектурной — среды города.

Город-идея

П. и возник-то как город-миф, идея. Речь идет именно об идее, о смысле, о духовной ценности, когда город — не только и не столько предмет осмысления, сколько средство. Он связан с глубинными вопросами и смыслами российской истории и культуры, национального самосознания, играет особую роль в их становлении. Своеобразие этой идеи в ее особой страстности, соприкасаясь с нею, человек попадает в поле исключительного духовного напряжения, которое выдерживает далеко не каждый.

Эта идея пропитывает всю российскую культуру последних трех столетий. Поэтому все, что дальше будет говориться о ее содержании, опирается на искусство этого периода (прежде всего — литературу), легко распознаваемо и узнаваемо. Более того, именно в этом материале идея П. поддается четкой периодизации. Первый период — с основания до конца первой четверти XIX в. — "буря и натиск" реализации воли бесноватого императора (или великого реформатора). Второй период — осмысление этого натиска, его плодов и результатов, основание не П., а темы П. — связан прежде всего с творчеством А.С.Пушкина (в "Медном всаднике", например, выражены и основное содержание идеи П. и ключ к его пониманию), Н.В.Гоголя ("Петербургские повести"). Третий период — зрелая идея, осознанная мифология — Некрасов, Герцен, Белинский, Ап.Григорьев, Одоевский и, разумеется — Достоевский (как ранний 40-х годов, так и 60-70-х, когда тема П. достигла пика своего развития) Четвертый период — осознание (прежде всего, в творчестве А.Блока, А.Белого, а также Ф.Сологуба, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Вяч.Иванова и др.) роли темы и идеи П., сознательное использование ее, отдельных ее фрагментов. Пятый период — свидетельство конца и формирование памяти о теме (Ахматова, Мандельштам, а также Зощенко, Скалдин...). Начиная с 20-х годов — период закрытия темы — Пильняк, Замятин, но прежде всего — К.Вагинов, "гробовых дел мастер", спевший своею "Козлиной песнью" отходную П. и его интеллигенции.

Последующий период — время все большего расхождения идеи П. и его реальной жизни, превращение идеи в явление чисто культурно-историческое, отзвук прошлого, память традиции, факт словесности (И.Бродский с его реминисценциями, Н.Катерли с ее старушками, "чудовищами" и т.п.). Но о развитии какой идеи идет речь?

Эксцентричная утопия

П. возник и сразу привлек внимание как весьма эксцентричная столица. Во всех смыслах эксцентричности. Как столица на самом краю молодой империи, ее резко смещенный центр. В истории это обычно выглядит жестом, знаком, с одной стороны, дальнейшей экспансии (теперь здесь будет новый центр), с другой стороны — противопоставления традиции, "концентрической столице, каковой в России всегда была и осталась Москва.

И с момента основания П. — бездушный, казенный, казарменный, официозный, застегнутый на все пуговицы, неестественный, абстрактный, неудобный, вымороченный — противопоставляется Москве — душевной, семейно-интимной, уютной, расхристанной, конкретной, естественной. В Москве живут как принято, а в П. — как должно. Москва — домоседка, тыл России, ее двор, разрослась сама и ни на что не похожа. П. — деятелен, активен, фасад России, нарочит, похож на все европейские столицы сразу и в отдельности. Москва — женского рода, в ней все невесты и все купчихи. П. — мужского рода, в нем все женихи и все чиновники. Основная единица Москвы — дом, она выросла домами, которые раньше любой улицы. Отсюда и множество тупиков в ней. В Москве и грабят-то преимущественно в этих тупиках. В П. основная единица — площадь, улицы раньше домов, каждый переулок "хочет быть проспектом" и даже грабят в нем на площадях.

От эксцентричности-смещенности и эксцентричности-маскарадности перевернутость новой столицы. Более того, столица эта возникла на краю русской ойкумены, в краю финских болот, на границе мира и света. П. — город потусторонний. Отсюда и особый эсхатологизм П., тема конца света в отдельно взятом городе. Это город, которому неоднократно предсказывался конец, причем от водной стихии. "Петербургу быть пусту". В наши дни добавилась еще и буквальная экс-центричность: город-экс-центр, бывший центр, "великий город с областной судьбой". А тут еще дамба!

Это город — воплощенная утопия. Как известно, у-топия — это то, чего нигде нет. Но не значит, что быть не может — и вот есть П. А поскольку город связан с петровскими реформами и личностью царя-реформатора, постольку и вся противоречивость их оценок переносится и на город. Он и центр зла и преступлений, символ народных страданий, антигуманного насилия, схем властной воли, историческая ошибка Петра и — торжество разума, гения Петра, открывшего новые горизонты российской жизни и культуры, символ особой красоты рационального устройства жизни, идеальный город, город-идея. Согласно Белинскому, П. оскорбляет в человеке все святое, но только в П. человек может узнать себя. Герцен полюбил П., так как тот заставил его страдать и мучиться до отчаяния, вызывая всегда состояние физической и нравственной лихорадки. А для К.Аксакова первое условие освобождения в себе чувства народности — возненавидеть П. всем сердцем.

Напряжения и наваждения

Неестественный, искусственный, нарочитый город. Поэтому он весь соткан из противоречий и напряжений. Прежде всего — напряженного противостояния природной

стихии и культуры, естественной и культурной среды. Но и в рамках каждой из них — напряженные противостояния.

Природа, естество, стихии П. — вода, болото, дождь, ветер, ночь, слякоть... Прежде всего — вода, не только собственно вода как Нева, каналы, залив. Небо — в тучах, в воздухе — дождь, морось (знаменитая питерская "моросявка"), на земле — слякоть, болото, топь. Причем, эта природная среда двояка: с одной стороны — снег, дождь, тьма, мрак, холод, духота, наводнения — одним словом — темная стихия; с другой — солнце, закаты, гладь, взморье, прохлада, свежесть, просветленное inferнальное небо (даже акварелисты никак не могут "поймать" питерское небо), прозрачность и "дальновидение" (в иные дни горизонт в П. раздвигается до 6 километров). белые ночи. Природа П., с одной стороны — гнилая, темная, кромешная, сырая стихия. С другой — светла и возвышенна.

Культурная среда города тоже парадоксальна. Темные, сырые комнаты-гробы, дворы-колодцы, канавы, вонь, теснота, подслушивание. И — дворцовые фасады, проспекты, площади, набережные, простор. И все эти противостояния — с почти мгновенной сменой позиции. Из полуподвала и двора-колодца — на набережную. Только что снег, мрак и почти сразу — ослепительное солнце.

Личное воспоминание. Летел из Еревана в П. Самолет резко вверх вылетает из Араратской долины и низко летит над Большим Кавказским хребтом. Совсем близко — острые вершины, до дна ясно и четко видны ущелья. Оплывшая сахарная голова Эльбруса, Казбек. Даже от Кубани на горизонте видны Арарат и Арагац. За Кубанью землю закрыла плотная сплошная облачность. Внизу — снежная белизна, вверху — голубизна, переходящая в зените в слепящую тьму, на горизонте — кавказские вершины. До самого П. настроение возвышенное, горнее. Подлетев к П., самолет пошел на снижение, вошел в ослепительную белизну, которая оказалась серой хмарью, самолет долго-долго пробивался сквозь нее, вывалился из нее почти у самой земли и шлепнулся в слякоть. Выхожу на трап — дождь, стылый ветер из-под низких туч, косой свет, а я знаю, что там, наверху, все не так, иначе. И неделю, наверное, ходил с ощущением "второго неба".

Жизненная среда в П. — критическая для существования человека. И не в том дело, что "Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек." То ничего не видно, тьма кромешная, угнетенное и подавленное состояние, то видать во все концы, беспредельный простор, свежесть и легкость дыхания. П. — самый крупный город на 60-й параллели, в зоне, как говорят специалисты, критической для человеческой психики и способствующей развитию неврозов и "шаманского комплекса". Крайнее напряжение психики: ума и души. Границы существования, сон, бред, лихорадка, границы этого мира и потустороннего мира, иного. Все двойится, отражается в воде и зеркальных стеклах, миражи, двойники, призраки, обилие легенд, странных историй, сфинксы, грифоны... Дьявольский город. Искушение разума и искушение разумом. Колыбель трех революций. Солженицынское — "город на болоте, где не сеют и не пахут, но белее белого едят, а революции происходят от того, что черный хлеб есть, но белого не привезли" — зло, но и справедливо.

Мир П. замкнут в человеке, а человек замкнут в себе, в чахоточной лихорадке, отчаянной рефлексии поиска смысла существования и — духовного самоуничтожения. П. — место, если не центр, поединка космических сил в человеческой душе. Человек то замкнут тьмой в самом себе, то ему не скрыться в этом "просторе меж небом и Невой", просторе "бытия-под-взглядом". И в том, и в другом случае он безуютно и дискомфортно один на один с миром. Ужас жизни. На лицах тоска и безысходность. Еще одно личное впечатление. Был в командировке в Туле. Все замечательно, люди хорошие, но чего-то не

хватало. Понял — чего, только выйдя с Московского вокзала — питерских унылых лиц, по-родному аденоидных и насморчных.

Шутки шутками, а смертность в П. всегда была одной из наивысших в России. В 1872 г., например, на 20791 рождение приходилось 29912 смертей. Население увеличивалось не за счет естественного прироста, а за счет приезжих. Соотношение мужчин и женщин до 1917 года доходило до пропорции 70 процентов к 30. Проституция, самоубийства в П. традиционно превышали среднероссийские на 40 процентов.

Город-испытание. "Белые ночи" — название повести Достоевского, ставшее обозначением городской реалии: одновременно научным термином и культурным символом. Но, и Достоевский имел это в виду, "белые ночи" — вид испытания крепости духа будущего рыцаря.

Город святого Петра или святой город Петра?

П. противостоит Москве так же и как еще один "Рим" — "четвертый", как еще одна столица христианской империи. Причем, с апелляцией к наследию собственно Рима, через головы Византии и Москвы — "римов" второго и третьего. Минуя их, как наследник Рима первого. Как прочесть "Санкт-Петербург" (Питерс бурх)? Город св. Петра или св. город Петра? На первый взгляд, несомненно — первое. А какого Петра? Первоапостола, первого Папы Римского? Или императора? Вопрос не лукав. В названии заложена апелляция не к основателю (лишь как намек и ассоциация), а к апостолу Петру, то есть — к Риму.

Это подтверждает и герб П. Два скрещенных якоря на нем. Лапами вверх! Но якоря (и на гербах тоже) всегда располагаются лапами вниз. Герб П. выглядит геральдической и морской бессмыслицей, но только если не знать, что он — прямая цитата герба Ватикана, на котором изображены скрещенные бородками вверх ключи, ключи от рая, хранителем которых является св.Петр. В обоих случаях — ключи, только одни — от царствия небесного, другие — от "парадиза" земного. П. как морской и речной порт давал ключи к европейской цивилизации — петровскому представлению о "парадизе". И именно из П. исходили российские революции — попытки утвердить утопические представления об установлении царствия небесного на земле, в отдельно взятой стране.

Св.Петр, однако, довольно быстро ушел из смысловых ассоциаций названия города. Особенно из обыденного сознания. Культ Петра-апостола перешел на Петра-императора. (Недаром так шокирует предложенная Солженицыным адекватная русификация имени города — Святопетровск.) Намек и ассоциация победили. Символ этого смещения — переход функций главного собора имперской столицы от Петропавловского к Исаакиевскому, освященному в честь Исаакия Далматинского в день рождения Петра I. Эта тенденция закрепилась в дальнейших переименованиях города: сначала в Петербург, а затем в Петроград. Город стал градом императора Петра, Петрополем. Поэтому возвращение городу исторического имени придает последнему самозванческие претензии, бесовский характер. Кто свят? Христианский святой? Император-основатель? Сам город?

Безблагодатная святость — намек, а фактически культ Петра I — закрепившаяся в череде переименований, а главное — в архетипическом (коллективном бессознательном) осмыслении, перешла в культ города — парадиза, культ центра, сокровищницы культуры. И что святее — основатель или его детище? "Святость" обоих безблагодатна, амбивалентна к добру и злу. Что и нашло свое логическое завершение в переименовании города именем великого самозванца, именем его партийной клички.

Крепость гнилого камня

Но это и город Петра — камня. Первоапостол Симон-Петр получил свое второе имя как символ крепости. Петр — камень, наука о камнях так и называется — петрография. Бурх — крепость. Санкт Питерс бурх — святая каменная крепость? Крепость святого камня?

П. — каменный город. Но его камень — не скала, неподвижная твердь и опора, а нечто зыбкое, камень на болоте. По финской легенде, приводимой Одоевским, при строительстве города закладные камни уходили и уходили в топь, пока Петр не простер ладонь, на которой потом и был выстроен город. Ладонь потом была убрана, а город остался. Город без фундамента, без основания. Его камень — подвижен. Недаром Медный всадник столь активен у Пушкина и у Белого. Да и сама скала для него "пришла" на болотистый берег и взметнулась застывшей волной.

Медный всадник заслуживает особого разговора. Простая композиция: скала, змея на ней попирающий змею конь, вздернутый на дыбы всадником с простертой рукой. Как прочесть эту композицию? Кто в ней смыслообразующее начало? Обычное прочтение: всадник-император вздернул своею волею Россию-коня, попирающую врагов-гадину, утверждая новые основы жизни. Но ведь возможно и иное прочтение, когда центральной фигурой является змея, на которую опирается (не попирает!) взметнувшийся конь с безумным всадником. Змея — хтоническое существо, исчадие ада и всадник-антихрист? Монумент хтоническому сатанизму? Или камню-Петру на воде, вынесшему из топи это наваждение?

Питерские набережные и фундаменты — из гранита, научное (петрографическое!) название которого "раппакиви" в переводе с финского означает "гнилой камень" — на срезе его вкрапления напоминают древесные гнилушки.

П. — камень, который вода точит. Его земля — "мать сыра земля", сырая до слякоти, до топи, до испарений. Эта среда обитания именно хтонических — не только дохристианских, но и до-олимпийских существ и стихий. Эту языческую мифологию удачно описал Г.Гачев как единство земной сырости, отсыревшего камня, света и ветра ("светер"), порождающих хтонических существ и недовоплощенных людей — "воздухов". Змеи, гады, крокодилы Достоевского и Чуковского, теряющие чешую на коммунальных квартирах чудовища Н.Катерли — естественные обитатели П.

Б.Пильняк писал, что П. — каменный город, но камень его — фикция, туман. Как писал Достоевский, "А что как разлетится этот туман, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подыметесь с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото". Предположение вполне в духе современных идей "возрождения П. в исконном виде": что может быть историчнее и подлиннее именно допетровского вида П.?! Или это предположение — провидение последствий строительства дамбы — насыпного, тоже подвижного, зыбкого "камня". Дамба — очень даже питерский сюжет.

Город-знак или город-призма?

П. театрален. Город-сцена: центр, Невский проспект, набережные, стрелка Васильевского. Ростральные колонны — бутафорские маяки, никому не светившие. Петропавловская крепость, никого ни от кого не защищавшая, декорация тюрьмы. За кулисами — Коломна, Пески, Лиговка... Знаковость, семиотичность города осознана или бессознательна, но ведет к четкому структурированию города, вплоть до районирования культурной жизни.

Д.С.Лихачев заметил, что если взять за ось Неву и Большую Неву, то правая (северная) сторона от нее связана с официозной культурой. Именно на правом берегу находятся университет, научная и художественная Академии, но нет, например, ни одного театра. Зато левый (южный) берег — территория творческой интеллигенции и богемы. Театры, выставочные залы, "башня Иванова", "Бродячая собака", дом Мурузи, ОПОЯЗ — все там. Но зато дачи официоза (двора, придворных ученых и художников) все сплошь на южном (левом) берегу залива — продолжения невской дельты. А демократическая творческая интеллигенция предпочитала отдыхать на правом (северном) берегу: Лахта-Куоккала-Териоки.

П. не только театрален. Он маскараден. Авангардист, город модерна и пост-модерна. Город-перевертыш. Он не имеет точки зрения на себя самого: то ли окно из России в Европу, то ли из Европы в Россию. Как истинные славянофилы, прожившие большую часть жизни в Европе, не признают в реальной России взлелеянный ими образ, а западники, выезжая за рубеж, не узнают и не признают в реальном Западе свой идеал, так и П. "остранняет" и Запад и Россию, делает их неузнаваемо странными. Но и познание их без него невозможно. Город-призма. Все двоится, расплывается до миража, до абстракции, до фантома, до ожившей классификации. Город, где оживают части тела ("Нос"), манекены (у А.Грина), идеи (колыбель трех революций).

За исторически ничтожный период П. оброс уникально обильными мифами, легендами, осмыслениями. Москва, Киев — древние русские столицы, несомненно, уступают ему в этом. Город-знак, город-текст с обилием его прочтений и интерпретаций — как города в целом, так и его частей, зданий, отдельных памятников.

Город-интеллигент — самый русский город?

П. вызывает исключительно остро парадоксальное и напряженное состояние души. Острые отрицательные переживания существования как бы во сне, в бреду, в лихорадке, тоске и страдании, наваждения на грани сумасшествия. И — едва выносимой радости, свободы, переполняющей тебя энергии и преображения. Это жизнь на краю жизни и смерти, заглядывание в мир иной, поиск и надежда на обретение спасения: себя, России, человечества. Высшее напряжение сил — интеллектуальных и нравственных, экономических и физических, политических и просто — человеческих. Постановка предельных и запредельных вопросов, поиск ответов на них. Отсюда и особая роль П. в становлении общественного сознания и личностных духовных биографий.

Это город — испытание России и личности. П. — порождение русского самосознания и, как это ни звучит парадоксально, — "самый русский город". Действительно, Россия осознает себя через отношение к П. Но и Россию понимают через П. Амбивалентность добра и зла, их противостояние и неразрывность, взаимопереход, противостояние народа и власти, личности и государства, свободы и воли, разума и стихии, особая государственность культуры — все это и Россия и П.

Главные характеристики российской культуры — внеэтичность, имперская собирательность, внешняя культурность, освоение культурных форм других времен и других народов — характеристики и П. тоже. Более того, если цветом российского самосознания и духовного опыта является интеллигенция, с ее жизнью "в идее", неукорененностью, неоднозначным отношением к народу и власти, подвешенностью между добром и злом, исканиями путей на топкой трясине их диалектики, то и в этом плане полное совпадение с П. Он — город-интеллигент, идейный и беспочвенный русский интеллигент, воплощение российского духовного опыта и его судьбы. Самый русский город.

Жизнь после смерти

Но П. заглянул-таки в мир иной. Самозванным победителям России город был опасен своей окраинностью, своей тревожной неоднозначностью, нагнетанием сверхактивности работы души. Пожать плоды победы сполна, успокоить разум, утвердиться во власти — все это П. дать не мог. Страна и большевики устали от него. Только Москва могла дать уверенный покой власти — собирательнице земель то ли плацдарма мировой революции, то ли — скорее — новой империи.

Реальное содержание петербургского мифа умерло уже в начале 20-х. Но остался город и остался сам миф. И их существование все более расходилось. Город продолжал жить новой жизнью, новой историей. После Октябрьского переворота он пережил страшное насилие поэтапного, посписочного уничтожения культуры. Год за годом уничтожались (высылались и расстреливались) наиболее образованные слои населения П.: военные, дипломаты, юристы, духовенство... Дело дошло до этнических культур: репрессиям подвергались поляки, немцы, евреи, татары... — причем именно за факт национальной принадлежности. Даже собственно коммунистическая администрация подвергалась в этом городе неоднократной и глубокой корчевке.

Сложился свой образ Ленинграда, связанный с революцией, первой советской столицей, центром индустриализации, блокадой, "кузницей кадров"... Однако, этот образ был уже не так целостен и ярок, как образ П. — имперской столицы, определяющий сердцевину питерского мифа. Этот миф и сейчас живет уже своей жизнью, мало связанной с реальной настоящей жизнью города. Он — достояние исторической культуры города. Он может и обязательно должен быть музеефицирован в архитектурной, ландшафтной и культурной среде города. Но попытки его "возродить" напоминают иногда попытки гальванизировать дохлую лягушку.

Главное — жизнь продолжается. "Блохи от сена сами собой получаются, а тараканы — от пыли", — говорил один литературный персонаж. Так и в этом городе культура — "сама собой получается". Самиздат, независимые самописные журналы, театры-студии, рок-клуб и т.д. в П. всегда были наиболее многочисленными и продвинутыми в стране. Наверное, срабатывает ландшафтно-климатически-архитектурная среда, ее напряжения и парадоксы. Недаром именно из этого города и сейчас исходят одновременно импульсы как новой культуры, демократии, экономического и духовного обновления, так и самого дремучего консерватизма, большевистского фундаментализма, национал-коммунизма и "нашизма".

Что же касается имени, то, похоже, этот город-знак, город-текст, имеющий множество прочтений и толкований, может и вправду иметь не одно имя. Он вырос из каждого из них, перерос их. Например, самый центр — Санкт-Петербург, в черте Обводного канала это может быть Петербург, кольцо "рабочих окраин" (а точнее — промзона) — Петроград, а новые районы — Купчино, Гражданка и прочее — хоть Ленинград, Хоть Лёнинград, хоть Джон-Ленноград — ей богу, все равно.

Но в этом городе сохранилось что-то, некое духовно-нравственное целое, которое "больше" любого его названия. От святого первоапостола, через императора-основателя — к кличке великого самозванца — это не только история имени города. Это история России, история ее интеллигенции.

В основании, в становлении, в революциях, в блокаде он действительно велик. Был и остается Городом, испытанием России, испытанием физических и нравственных сил, синонимом культуры вообще — как истока, процесса и результата этого испытания.

Испытание продолжается. Новое испытание новых поколений. Город стал Санкт-Петербургом именно вновь, внове.

... Город будто перестал
в тот краткий миг существовать,
продолжая только умолять,
как большой безумец, о покое,
словно в голове его царит
путаница давняя, и мысли
паутиной жесткою нависли,
перевощенные в гранит,
а гранит — он чувствует — в ночное
небо непомеркшее летит...
/Р.-М. Рильке "Ночной выезд. Санкт-Петербург"/

А может... Может быть, до сих пор была предыстория города, бурная, напряженная, какими и бывают предыстории, поиски себя и своего смысла. И теперь, успокоившись, поняв себя и свое имя, он начинает свою историю?

© Г. Тульчинский, 1993

МАТРИЦА ФРЕЙДА: ПЕТЕРБУРГ.
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В МЕТАФИЗИКУ.

Борис Соколов

Метафизика Петербурга. Это значит: метафизика как Петербург, т.е. метафизика вовлекает в себя и делает собою тот город, который именовался первоначально Петербургом, затем (волею случая или сущностно — это предстоит рассмотреть) Ленинградом, а потом снова (повторение, возвращение или вос-становление?) Петербургом. Но это также значит: Петербург как метафизика, т.е. Петербург, который заключает, делает своим местом, бытием, судьбою метафизику.

Эта двойственность темы позволяет переплестать, скручивать в один канат две нити, ведущие к осмыслению двух окраинных, пограничных областей: город, возникший на грани двух цивилизаций и претендующий на положение сердца-столицы, и метафизику, всегда находящуюся в сердцевине-центре и одновременно на границе и по ту сторону человеческого бытия. Город — как город метафизики, и метафизика — как пространство, способ существования города. Эта же двойственность, отражающая двуликость открывает возможность про-явить их сущность, рассматривать город как вопрошающий о смысле и пределе бытия человека и одновременно метафизику как пространство, ландшафт, карту и проект застройки.

И это не только каприз выбранной темы: в самом деле, можно, если только следовать аналогии, заявить тему "Метафизика Петушков" или "Метафизика Мбуа (Фиджи)". Сущностно лишь несколько мест явили возможность "город — метафизика". И одно из этих мест — Петербург. Возможность встречи заключена в самом этом странном, любимом или ненавидимом городе, городе белых ночей и дворцов, прямых как стрела улиц, императорского величия и мощи. Но и в городе-кошмаре, наваждении, городе гнилых болот и бездомных, пронизывающих ветров.

Санкт-Петербург — Ленинград — Санкт-Петербург ...

Круговой маршрут: от Петербурга до Ленинграда и обратно.

Или: цепь, делящаяся до бесконечности: Петербург — Ленинград — Петербург — Ленинград ...

Или: (и это выглядит в духе Гегеля) триада, когда есть движение от Петербурга (внутри него и как ступень внутреннего разлома, раздвоения Петроград) до его "иного", "инобытия" (Ленинград), а затем, через два отрицания/возвышения, возвращение из "инобытия" в высшее единство, соединяющее в себе и Петербург и его "иное", Ленинград.

Или: вечное возвращение, что по сути подобно бесконечной цепи Петербург — Ленинград — Петербург ... и т.д., что может быть преодолено в смерти (приходе/про-ходе "Сверх"). Тема Ницше.

Или: прорыв, возвращение вытесненного (Санкт-Петербург). Тема Фрейда.

По сути эти возможные пути подхода, приступа к проблеме сводятся к трем. Трио: Гегель, Ницше, Фрейд. Доминанта (нужно помнить, что доминанта — это и музыкальный термин: пятая ступень звукоряда, аккорды доминантной группы — наивысшее, напряженнейшее стремление в тонику, покою-разрешению; таким образом, термин доминанта многозначен и всегда несет в себе скрытую деривацию, отклонение привычного значения) определена "здесь и теперь" — Фрейд. Но — как стремление и

начало движения. На матрицу Фрейда, как сопровождающие голоса, накладываются темы Гегеля и Ницше. Сама же матрица применяется в несвойственной для психоанализа области — области социально-исторических феноменов: выход за пределы собственных границ, завоевание психоанализом сущностно чужих для него областей, выход в "иное" (мотив Гегеля) и одновременно одушевление, наделение всеобщего жизненностью единичного, то есть рассмотрение социального как организма (Гоббс: Левиафан).

Здесь хотелось бы уточнить позицию автора и сам маршрут работы. Применение матрицы Зигмунда Фрейда не предусматривает в данном случае ее полное принятие, вовлеченность в психоаналитическую ситуацию, парадигму. Отстраненность, а затем отстраненность от отстраненности, т.е. постепенное вовлечение и себя, и матрицы Фрейда, и Петербурга в проблемное поле, интересующее автора. Данная работа — пропедевтика, введение в пространство метафизики. И это введение осуществляется с помощью мотива Петербурга и логической матрицы Фрейда. После применения матрицы Фрейда и анализа проблематики Петербурга возникает необходимость оставить их. Поле метафизики нелокализуемо и не о-пределяемо: в этой бездне безопорности исчезают и матрица, и тема Петербурга.

Матрица Фрейда

У Зигмунда Фрейда выход за рамки собственно психического осуществляется неоднократно, когда, в основном, речь идет о религии. Основание: для Фрейда симптомы невроза и симптомы религии тождественны: этиология невроза и история возникновения религии, будь то примитивные верования ("Тотем и табу") или монотеизм иудаизма ("Будущее одной иллюзии", "Человек Моисей и монотеистическая религия") представляют собой два аналога. Этиология-развитие: первичная травма — защита — латентное состояние — невроз — возвращение вытесненного. Именно поэтому здесь и далее, не оговаривая каждый раз, будет применяться психоаналитическая терминология к социальной сфере: например, "вытесненное" в подсознательное применительно к социуму будет означать "посылку", "адресовку", "вытеснение" определенных мировоззренческих представлений, обыкновений в "подсознательные", темные, подчас невербализированные и андерграундные структуры "духа народа".

То, что будет выступать рефреном анализа: это связка вытесненное — возвращение вытесненного. Вытесненное посылается в подсознательные структуры "я", где оно, оказываясь, начинает обладать большим могуществом, чем ранее, когда оно еще не было защитным механизмом "загнано" в "Оно". Подсознательные структуры: утаенные от контроля со стороны *ratio*. Вытесненное, таким образом, "невидимо" для разума, вернее, той его части, которая именуется сознанием. Невидимое обладает существенным преимуществом: оно "уходит" из-под контроля, из поля зрения, но не исчезает. В свою очередь, оно прекрасно "видит", "знает" о присутствии и о каждом шаге, изменении сознательных структур "я" и может воздействовать на него не только со стороны, но даже действовать изнутри его самого, мимикрировать под сознание. Прорывы же этого бессознательного могут происходить тогда, когда сознание теряет контроль над "ситуацией": сон. Сознание не может бороться с "невидимым" для него "врагом", оно, правда, может попытаться сделать его видимым, про-явить его: в этом и состоит стратегия психоаналитического метода лечения душевных болезней. Но и при психоаналитическом методе вытесненное, даже при благоприятном исходе (излечении) не исчезает, оно лишь переструктурируется. Причина остается, а значит, возможны неожиданные рецидивы. Но бывает и иначе: утаенное вытесненное постепенно завоевывает, абсорбирует личность: происходит трансформация личности. Личность

оказывается такой, какой она не желала бы быть, против чего был и направлен механизм вытеснения.¹

Такова матрица Фрейда, Фрейд еще более сжимает этот процесс, доводя его до схемы: "Ранняя травма — защита — латентность — наступление невротического заболевания — частичное возвращение вытесненного".² Наше же внимание еще более суживает эту схему, выделяя в ней основные, узловые этапы: травма — защита/вытеснение — возвращение вытесненного. Даже более: вытеснение — возвращение вытесненного.

Как уже упоминалось, Фрейд применяет данную матрицу, данный логический (из нескольких шагов) ход не только в психоаналитическом методе изучения этиологии душевных болезней, он пользуется ею для анализа возникновения и изменения религий, которые для него являются аналогом невроза. Первичной травмой выступает убийство: убийство отца ("Тотем и табу"), убийство лидера ("Человек Моисей и монотеистическая религия") — модификация Эдипова комплекса.

Рассмотрим в общих чертах действие данной матрицы, схемы в работе "Человек Моисей и монотеистическая религия" и покинем Фрейда. Травма — это убийство Моисея, египтянина ("мосе" по египетски "дитя" — ср. историю чудесного спасения младенца Эдипа и Моисея), проводника у египетских евреев монотеистической религии Атона, отвергнутой Египтом. Убийство способствовало тому, что сама монотеистическая религия оказалась на время вытесненной: "евреи, даже согласно Библии, раздраженные и настроенные против своего законодателя и вождя, в один прекрасный день взбунтовались, убили его и отвергли навязанную им религию, как еще раньше сделали египтяне"³, затем она пребывала в латентном состоянии (принятие новой религии в местности Кадеш: культ бога вулканов Ягве под влиянием арабов мадианитян). Далее — возвращение вытесненного: чистая, монотеистическая религия Атона как бы изнутри абсорбировала, завоевывала, наполнила новым содержанием саму личность бога Ягве (местного божка), трансформировала его во вселенского Бога иудаизма, а затем "передало" его христианству. В Библии этот латентный промежуток замаскирован тем, что чисто временно он схлопывается между двумя створками: эти две створки — два разных Моисея, ставших впоследствии одним лицом: произошло слияние в одну личность двух исторических персонажей, носивших одинаковое имя Моисей.

Применение данной матрицы позволяет рассматривать некоторые социальные феномены, возникновение, неизвестно откуда, чего-то нового, правда, иногда нового в старой одежде или старого в новой одежде. И в этом случае срабатывает матрица-схема Фрейда: возвращение вытесненного. Мы улавливаем, как нечто старое, загнанное в "подсознание" общества осуществляет конкисту, абсорбацию того нового, которое, став доминирующим (аналог — сознательное у Фрейда, т.е. то, что может осуществлять контроль/рефлексию, отдаление себя от себя самого, дистанцирование себя от себя же), не подозревает, что оно лишь взращивает в себе старое.

Петербург

Итак, место встречи — Петербург. Место, где город есть метафизика, а метафизика — город. И не только потому, что кто-то решил в нем или о нем философствовать. Именно применение матрицы Фрейда позволит нам рассмотреть Санкт-Петербург как метафизику, а метафизику — как город. Именно она сплетает, скручивает канат над бездной, который нас, канатных плясунов Ницше, приводит к бездне бездн, трансценденции трансценденций, который про-являет "стену рая" Николая Кузанского — Время.

* * *

Петербург как город не насчитывает и трехсот лет, поэтому нам легко будет отыскать ту основу, которая поможет нам развернуть матрицу Фрейда. История России, особенно после октябрьского переворота/революции — прекрасная иллюстрация-аналогия идей Фрейда. Мы имеем чуждую народу веру-теорию (в работе Фрейда — религия Атона) — марксизм; вождя, который пытается ее привить в одной отдельно взятой стране (у Фрейда — Моисей); смерть-убийство вождя и его обожествление (у Фрейда — обожествление праотца убитого сыновьями). Эти аналогии настораживают: Россия, русские поставлены в те же условия что в начале нашей эры Израиль, евреи: уже сейчас они, русские, оказываются скитальцами не только за пределами бывшего Союза, но и в той части земного шара, которая ранее ими воспринималась как родина. Настораживает и марксизм, который ушел в латентное состояние и, следовательно, имеет возможность воздействовать изнутри и абсорбировать то новое, что стало возможным в последние годы. Так что есть все предпосылки для создания мифа о Вечном Коммунисте, сыне Вечного Жида.

Но вернемся к Петербургу. История его довольно коротка и мы можем вычленить то основное в его создании, что в других городах покрыто мраком времен. Петербург — искусственный город. По своему замыслу, по своему возникновению. Коротко: он не имеет корней, основания, из которого чаще всего вырастают города, он волюнтаристски навязан России как столица и центр Петром Первым. Он стал центром-столицей сразу и — окончательно. Он предельно рационален и не имеет тех корней, которые связывают города с бессознательным и сущностным стремлением, влечением человека обустроить пространство для своего обитания. Необходимость его возникновения — не необходимость, вырастающая из глубины веков и ведущая к сущностным структурам человеческого существа, а в лучшем случае необходимость "одного дня" истории России. Но этот "один день", его необходимость, становится в силу обстоятельств значительным фактором в истории России и придает последней ряд своих характерных черт — прежде всего сущностную безопорность и хрупкую рациональность. Он, в своей безопорности и поверхностности, претендует на центральное, главенствующее положение. Но его поверхностная рациональность сродни понятию сознания у Фрейда: хрупкая и эфемерная часть "я": "... сознание — мимолетное качество, присущее тому или иному психическому процессу."⁴ Рациональное — явное, "светлое", поддающееся рефлексии, осмыслению. И Петербург как бы нарочито демонстрирует нам свою рациональность. В радостном, живом свете Белых Ночей: строгие линии улиц, завершенность и европейская рациональность господствующих стилей, спокойная зелень парков и насаждений, взметнувшиеся в светлое летнее небо всадники-императоры и позолоченные купола-шпили церквей. Для большей основательности все продублировано в глади одетых в гранит каналов, рек, речушек, протоков. И лишь свинцовая даже в самый ясный день Нева настораживает.

Но, как это не парадоксально, именно здесь, в этом городе, который, казалось, наиболее рационален (мечта, проект Петра), "сознательность", рациональность наиболее неустойчивы, хрупки: здесь нет той долгой истории отношений, взаимоувязок, взаимодействий (рациональное/иррациональное), которая позволила бы им "притереться", приспособиться. Бессознательное "духа народа" никуда не исчезало, оно как основа всегда скрыто присутствует. Но здесь, в сконструированном городе, в скопированном с Западной Европы духе и укладе жизни чуждая, привнесенная надстройка не может нейтрализовать сознательной части жизни "духа народа", поскольку

генетически не связана с ней. Она не может погасить прорывы бессознательного. И потому эта явная, кажущаяся в этом городе всемогущей и вездесущей рациональность таит в себе мощь всего вытесненного и, казалось, уничтоженного темного бессознательного. И, как вытесненное, это бессознательное ассимилировало, абсорбировало всю ясность, светлость сознательного. Сквозь прямые линии рациональности города Святого Петра видны замысловатые протуберанцы бесконечной мощи демонического начала града Антихриста. Таким образом, сущностная безосновность, вытесняющее, которое давно уже стало вытесняемым, бесконечное отсылание вглубь себя своей безосновности и безопорности — это основа, опора, субстанция-корень Петербурга. И поэтому: вечное нахождение в истории города (который по своему замыслу есть рациональное, светлое, то, что представилось русскому человеку как европейское-просвещенное) темного, стихийного, демонического начала. История: город бунтов, восстаний, революций, заговоров, которые постоянно взламывают успокоенную, степенную, правильную череду дней рациональности. Петербург — правильный до отрицания правильности в себе иррациональный фасад рациональности, со свернутой и в любой миг готовый развернуться с ужасающей силой разрушения пружиной темного, бессознательного, демонического. Именно то, что уловил и выразил Достоевский, который не сторонне описывал этот город, а был им, жил его жизнью — жизнью оборотной стороны, где сквозь ясные прямые линии улиц прорываются тошнотворные, болезненные испарения финских болот и вытесненного русской истории, русской души, "русской идеи": город безысходности, кошмаров и надрывов.

Как концентрированное выражение жеста Петра, Петербург включает в себе отказ. Это отказ от того, что понималось как исконно русское. Но сам жест отказа от "старины", "своего" в пользу "новации", "иного" — существенная черта русского духа. Реформы Петра лишь повторяют этот жест: отказ от язычества при Владимире, приглашение варягов для организации государственности как отказ от возможности самим создать государство. Отказ от прошлого: отрицание. Но поскольку отказ лишь вытесняет "старое", а не уничтожает его, то речь идет об отказе/снятии.⁵ Отказ от прошлого может выступать как реформа (умеренно) или (крайнее напряжение) как революция. Как ни странно, "новация" имеет больше шансов стать реальностью при "умеренности" реформы, чем при напряженной стихийности революции. Именно это прекрасно показал нам Фрейд при анализе возникновения монотеистической религии у евреев: насильственный отказ от религии, привнесенной в еврейский народ Моисеем, даже его убийство, лишь способствовали тому, что данная религия изнутри, как вытесненное, абсорбировала и сделала собою религию бога вулканов Ягве. Иногда нет большей вероятности сохранить "старое", чем революционно его реформировать. Революция — это не прыжок в будущее, а прыжок назад: на Западе это бессознательно ощущали и старались прибегать к той социальной инженерии, которую К.Поппер определил как "piecemeal" — постепенное, поэтапное. В России же предпочитали разрубать, а не скрулезно распутывать накопившийся груз противоречий.

Отказ, как жест Петербурга, определяет его географическое положение и его безопорность. Он расположен на краю России: форпост России в Европе. Но и: форпост Европы в России. Это место сплавленности Европы и России, взаимовлияния. Он, как отказ от исконного и географически — окраина, через которую можно проникнуть в Эдем Европы. Но все же окраина. И та окраина, которая стала центром империи или, вернее, стремится стать центром, сердцем: кожа, ее верхний слой, эпидерма, которая стала центром, душой. Отказ как безопорность, как отрицание старины, традиции, и отказ как окраинность — вот та кровь, которая пульсирует в сердце России и, "очищая" и омывая весь организм, мультиплицирует этот отказ, абсорбируя все клетки тела; этот

отказ в каждой клеточке России, в каждом индивиде. Традиция России — отказ от традиции.

Петербург как окраина и как кожа усеян зародышами гнойников, которые, когда подчас нестерпимо напряжение скопившейся энергии вытесненного, превращаются в гигантский гнойник: кровь и грязь революций. Прорывы бессознательного, темного показывают, что и сама рациональность Петербурга — граффити, оптический обман, симуляция под рельеф рациональности, причудливо сплетенное иррациональное, при определенном освещении вдруг принявшее правильные геометрические формы. Даже больше: нет ничего абсурднее рациональности, нет ничего "кривей" прямой линии.

Кожа, кровоточащая и полная гнойников, стала сердцем — кровоточащим сердцем России. Сердце, которое лишь кожа, пытающаяся стать центром и т.д. — бесконечность, уходящая вглубь, бездна, проваливающаяся в саму себя. Но ведь за два с половиной столетия все же что-то приросло, привилось к почве. Но этот корень довольно странен: это корневище есть то, что нес в себе изначально Петербург — сконструированность/искусственность, отказ, окраинность, безпорность и бездонность, бессознательное и темное беспредельное, которое отлито в форму рациональности. И это корневище будет плодоносить тем же, что оно есть само по себе: вечное возвращение вытесненного, вечный невроз, вечная болезнь. Но: болезнь принимающая иногда геометрически правильные очертания, логическую обоснованность, которые внутри себя есть лишь граффити, обман, абсурд. И случайное, казалось, переименование города в Ленинград, город торжества плебса и революции, закономерно: в Петербурге всегда был Ленинград, темное и стихийное, так же как и в Ленинграде был всегда ясный, имперский, рациональный Петербург. Да и сейчас нет такой силы, которая сможет стереть в Городе Святого Апостола Петра Город Торжества Коммунизма.

И в этом смысле наивны попытки восстановить дореволюционную ситуацию: это есть повтор жеста Хайдеггера: вслушивание в истоки, возвращение к ним тождественно современной попытке вернуться в золотой век Русского Ренессанса. Это — революция наоборот, которая оказывается по своим следствиям тождественной обычной революции: и попытка в духе Хайдеггера, и революционное изменение лишь заново восстанавливают то, что уже было пройдено. И нужно помнить: стремление вернуться к истокам лишь воссоздает ту ситуацию, которая привела к этой попытке вернуться вспять (замкнутый, порочный круг), которая заставит заново пройти уже пройденное. Или, применительно к современной ситуации в России: желать воссоздания духовной ситуации начала нашего века — это желать того, что за ней и благодаря ей последовало...

Значит, все возвращается? Круг, из которого "белка", как бы она ни бежала, никогда не сможет выбраться? Но этот круг, круговое движение, закругление есть судьба диалектики. Петербург/Ленинград — иллюстрация движения логики Гегеля — вечная закругленность и, следовательно, вечное возвращение. Этот круг выявлен с помощью матрицы Фрейда: вечное возвращение вытесненного. У Гегеля: идея, после одиссеи, все же возвращается в саму себя. Но время подталкивает: и снова должно начаться движение, которое есть лишь стояние на месте. Каждый шаг вперед не сдвигает с места: это тот шаг, который использует Деррида — *pas*, одновременно означающий "шаг" и "нет". *Pas* диалектики, *pas* как *Aufhebung* возвышение/сохранение. Этот *pas* — иллюзия, майя, залог вечного возвращения вытесненного.

По ту сторону Петербурга и матрицы Фрейда

Вечный повтор переносит действие в театр, где повторение драмы или комедии — сущностная данность жанра. Этому переносу способствует и искусственность

Петербурга. Итак, место разворачивания диалектики вообще и, в частности, диалектики Петербург/Ленинград — театр. И пока будет вертеться колесо повтора рас "шага-нет" диалектики — искусственность, театральность — судьба, рок. Даже если роли актеров — их собственная жизнь и смерть. Выход из искусственности театра состоит в прекращении повтора. Первый "шаг-нет" направлен в сторону цирка, таким, каким он был прежде: где повтор действия не сопряжен с явной предопределенностью и искусственностью-отстраненностью актера. Это цирк Древнего Рима и Средневековья: где есть непосредственное состояние перед смертью, где смерть вплетена в сюжет, где есть непосредственное стояние перед смертью, где есть смертельный риск: смелость гладиатора и даже его смерть не есть что-то мнимое и отстраненное (как "смерть" актера в театре, который со стонами и вздохами будет "умирать каждый вторник"). Это тот цирк, где нет страховки для канатоходца. Это не цирк сегодняшнего дня (не умаляя риск циркачей), когда смерть укротителя на арене есть случайность, а ни как не действие, на которое пришли зрители.

Второй "шаг-нет"(рас) есть непосредственно тот "шаг-нет", который превращается в "нет-шаг", т.е. обрыв в пропасть. Когда уже больше нет и не будет никаких "рас", когда они бессмысленны: нет шага в бездне. Итак, мы с помощью схемы-матрицы Фрейда выделили в поле вопрошания "Метафизика/Петербург" два слоя: тот, который контролируется диалектикой и который приводит к повтору; и тот пласт, который выбивает почву: обрыв в бездну. То, что диалектика приводит к повтору, вечному возвращению тождественного видно лишь "снаружи". Этот взгляд на себя самого "снаружи" и был явлен при анализе с помощью фрейдовской схемы Петербурга. Но первый пласт, его про-ход с помощью "шага-нет" рас диалектики — лишь пропедевтика обвала в пропасть; но лишь для тех, кто готов выйти, ожидая обвала в бездну, на канат, протянутый над пропастью.

Фридрих Ницше, "Так говорил Заратустра": "Человек — это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью".⁶ Человек — бездна, стоящая на скрученном из собственных рас "шагов-нет" канате, протянутом над пропастью. И это стояние, которое есть круговое движение рас "шага-нет" диалектики, уже есть стояние на краю бездны и провал в бездну: бездна поглощает, обваливает любую кромку края и делает все поле обитания человека бездной, проваливающейся в саму себя.

Прыжок в бездну, обрыв каната и есть тот "шаг-нет" приводящий к отрицанию повтора, к бездне бездн, к "стене рая", к Сверхчеловеку Ницше: "Где же та молния, что лизнет вас языком своим? Где то безумие, которое должно внушить вам? Внемлите, я учу вас о Сверхчеловеке: он — та молния, он — то безумие!"⁷ Ибо прыжок в пропасть, "сальто-мортале" обрывает канат, зачеркивает все следы, весь путь "шаганет", разрывает все привычные связи: молния, безумие.

Этот прыжок в бездну зачеркивает любые отношения, ликвидирует вечное возвращение вытесненного, обрывает поступь "шага-нет" диалектики Гегеля и попытку заново вернуться в исход, которая есть вопрошание Хайдеггера. Как мы видим, все эти ходы/про-ходы (Фрейд, Ницше, Гегель, Хайдеггер) не сдвигают нас с места, лишь кружат, симулируют движение. Эти ходы своим кружением лишь создают, плетут, окружают "канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком", канат над пропастью (Ницше). Канат: скрученная спираль, натянутая во времени, которую о-кружает (кружит как стервятники над своей добычей), обволакивает пропасть, бездна. Про-ходы над пропастью: тяжесть смысла смещается на приставку "про" и аннигилирует корень, основание, которое (пасть/падать, ход) про-валивается в себя самого. Канат над пропастью, которая не только о-кружает, но и по сути сама скручивает этот канат из

нитей Ариадны. Эти нити, при всей видимой линейности, суть замкнутые петли (затягивающиеся на шее человека?). Эти нити и есть про-валивающиеся про-ходы Фрейда, Ницше, Гегеля, Сократа, Баха, Будды, Христа — нити Ариадны, выводящие из и одновременно вводящие в лабиринт, где обитает, будучи началом и концом петли нити, Минотавр — животное и человек одновременно. Канат натянут по направлению в и из Сверчеловеческой Бестии. Канат: скрученный, движение по кругу по времени но и в безвременье: все стоит (до обрыва каната) на месте: движение по замкнутому кругу, вечное возвращение, круг абсолютной идеи, замкнутость системы Спинозы. Замкнутые нити: pas "шаг-нет", движение по замкнутому кругу. Замкнутая скрученность каната, пропасть, окружающая и скручивающая канат, идущий (но не трогающийся с места) канатоходец, который сам есть внутри себя пропасть и скрученный из петель-нитей канат — это головокружение и безумие. Головокружение и безумие — симптом падения в бездну, которая не просто окружает и скручивает, но и притягивает. Головокружение от взгляда в пропасть и предчувствие провала, головокружение от скрученности каната, головокружение от замкнутости (петля) нитей Ариадны каната. И канатоходец, идущий от начала каната (но поистине начала нет, есть лишь та бездна, которая скручивает канат) и стремящийся к концу. Но этот конец каната не располагается в конце (т.к. он бесконечно удален и одновременно закруглен в каждой точке каната), а в закручивающемся "водовороте" обрыва в бездну. Но этот обрыв в "водоворот", "спираль смерча" открывает, возвещает о при-ходе и про-ходе, про-вале "сверх", которое, как бездна, заключающая в себе бездну и провалившаяся в бездну того, что не достижимо, хотя проживаемо нами и пронизывает нас, есть Время. Вопрос о "сверх", о "по ту сторону" (сверхчеловек, бог, смысл бытия, смысл истории, и вопросы о смысле Петербурга, как бездны безотсылочности и головокружения от "шагов-нет" диалектики и вечного возвращения вытесненного) есть вопрос о Времени.

Вопрос о Времени — провокация, петля пытающаяся захватить Пустоту Пустот. Вопрос о Времени требует своего безымянного пространства, которое не может уже быть ни с чем связано, ни с Петербургом, ни с матрицей Фрейда, ни даже с авторством, которое присутствует в любом писанном тексте.

Но чтобы не ставить точку, которая есть тот конец, который возвратит нас к началу и заставит пройти маршрутом диалектики и вечного возвращения вытесненного, мы поставим двоеточие...

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вот, с сокращением, описание процесса у Фрейда:

"Мальчик, как это столь часто бывает в мелкобуржуазных семьях, в первые годы жизни разделявший спальную комнату с родителями, неоднократно ... имел возможность ... наблюдать сексуальные сцены между родителями ... В своем позднейшем неврозе ... нарушение сна стало самым ранним и устойчивым симптомом ...

Рано разбуженный подобным опытом мужской агрессии, ребенок начал ... предпринимать разнообразные сексуальные покушения на мать, идентифицируя себя с отцом, на место которого он при этом вставал. Так продолжалось до тех пор, пока он ... не получил от матери запрет прикасаться к своему члену, а затем услышал от нее угрозу, что она скажет все отцу, и тот в наказание отберет у него греховный член. Угроза кастрации возымела чрезвычайно сильное травматическое воздействие на мальчика. Он отказался от своей сексуальной деятельности и изменился в характере. Вместо идентификации с отцом он стал бояться его ... В такой модификации Эдипова комплекса провел он период

латентности, свободный от бросающихся в глаза нарушений. Он стал образцовым мальчиком ...

Начало половой зрелости принесло с собой явный невроз и обнаружило его второй основной симптом, сексуальную импотенцию ... Толчек усиливающейся мужественности, приносимый половой зрелостью, был потрачен на яростную ненависть к отцу и отвращение к нему. Это крайнее ... отношение к отцу стало причиной также и его неуспеха в жизни и его конфликтов с внешним миром. Свое дело он завалил, потому что именно отец навязал ему профессию. Не завел друзей, не достиг хороших отношений с начальством.

Когда, обремененный этими симптомами и неспособностью, после смерти отца он нашел, наконец, жену, в нем проступили в качестве ядра его существа черты характера, сделавшие обращение с ним тяжелой задачей для всех его близких. В нем выработалась абсолютно деспотическая, эгоистическая и brutальная личность, очевидной потребностью которой было угнетать и обижать других. Он стал верной копией своего отца, каким сделала образ последнего его память, т.е. произошло возрождение той идентификации с отцом, к которой прибег в свое время из сексуальных мотивов маленький мальчик. Мы узнаем на данном примере возвращение того, что некогда было вытеснено..." (Фрейд З. Человек Моисей и монотеистическая религия// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С.203-204.)

2. Там же. С. 205.

3. Там же. С. 185.

4. Там же. С. 219.

5. И здесь сразу необходимо уточнить то гегелевское понятие *Aufhebung*, которое довольно неудачно переводится как "снятие": в самом деле "снять" можно вещь с полки, пальто, квартиру на месяц или год, друга фотоаппаратом и т.д., но то, что есть гегелевское понятие *Aufhebung* корректнее переводить, сохраняя оттенки немецкого значения превышения и сбережения, слитые в этом понятии, двойным термином *возвышение/сохранение*, которое, за неимением русского эквивалента, наполняет одно понятие другим и функционирует как сплавленность.

6. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. С.11.

7. Там же. С.11.

ВОДА, ПЕСОК, БОГ, ПУСТОТА

Александр Секацкий

Вступление

Трудно поверить, что нижеследующая история имеет отношение к Петербургу. Между тем само имя города содержит в себе важнейший прием "минус-комбинаторики" — в каком-то смысле этот город имеет вещее имя.

На первый взгляд, вычитание из титула Санкт-, что бы из него не вычиталось, должно означать убыль святости. Но если вдуматься в глубинную онтологию операции вычитания, мы сможем понять ее как самую суть творящих слов: "Да будет". Раздельность сущего — важнейшая примета свершившегося и свершаемого творения. В этом городе все определяет присутствие кромки, линии, контура: гранитная оболочка воды, прямоугольность зеленых квадратиков травы, привычка держать себя в рамках, на дистанции.

Мы видим, скольких усилий стоит раздельность Воды и Песка на фоне болот, видим, как нехватка контраста между днем и ночью восполняется кромкой, заботливо культивируемой внутри сумерек. При этом мы ничего не объясним, ссылаясь на искусственность, вымышленность Города. Нам придется углубиться в далекое, в самое дальнее, чтобы уяснить для себя нечто элементарное: обитаемость Города. Пусть Метафизика Петербурга и Большая Метафизика станут предисловиями друг к другу.

1. Вода и песок, две чистые стихии, которые по отдельности безжизненны, в слиянии образуют среду жизни. Результат взаимодействия воды и песка — болото, грязь, лужа; колыбель жизни неприглядна на вид. Совершенная геометрия кристалла радует взор, но в ней нет жизни. Мы вслед за японцами восхищаемся раковиной улитки, но ведь раковина — это ее мертвое, а живое — кусочек слизи, тот что внутри, шевелящаяся плазма. Голый слизень.

2. Древнегреческая метафизика зародилась как комбинаторика четырех стихий. Но число не существенно: 2, 3, 5 — зато варианты сочетаний содержат в себе интерес волшебной сказки. Теплое — сухое — влажное — холодное, пробы сложения. Сейчас метафизика уже не играет в такие игры. Причина, быть может, проще, чем кажется: кризис взросления, когда сложение уже банально, а вычитание еще не освоено.

3. Вот и осталось детское убеждение, что мир складывается из простых, изначальных стихий; дело лишь в том, чтобы найти слагаемые: пусть их будет много, все равно они соединяются как детали детского конструктора. Когда-то, однажды, они совпали сами собой в узор, но, быть может, синтез был произведен Демиургом. Случай воды и песка дает шанс иному пониманию, которое вкратце звучит так: мир возникает благодаря вычитанию, а не сложению. Мир, в котором возможен Я, где возможна вещь — этот мир есть разность, а не сумма.

4. Мне хотелось бы показать, что даже если мир создается сложением, то все же раздается /до размеров Вселенной, мира/ — раздается вычитанием. Вместителище — а значит и место — результат вычитания. Полнота плеромы или творения как насыщения означает, что больше уже нет места. Плерома исполнена, в ней нет пустоты. Значит — негде быть.

5. Бытие немислимо без конституирующего его творческого акта изъятия или освобождения места. Если вдуматься, чего была лишена лишенность или материя, как ее

понимали Платон и Аристотель, мы вдруг обнаружим, что прежде всего она была лишена различий. Ветхозаветный термин, применяемый для обозначения дотворческого состояния мира — "тоху-боху", означает, по сути дела, неразделенность воды и песка, а в переносном смысле — "ни то, ни се".

Всякое прибавление бесследно исчезает, ничего не добавляя к характеру суспензии. Поэтому манифестация творческого начала и не может оказаться сложением, прибавкой "еще чего-то" к тоху-боху, пусть даже сферы идей. Сотворяя, Демиург потрясает мир — согласно версии Вед имело место взбивание, длительное пахтание тоху-боху, пока не отслоилась земля и все слои сущего, и главное, пока не образовалась прослойка пустоты, самого драгоценного продукта творения.

6. В книге Бытия для описания действий Бога используются глаголы "сотворил" и "создал", и лишь в одном месте уточняется характер "сотворения": "И отделил Господь воду от тверди, а твердь от воды" /Быт.1:4/. Это предложение и заключает в себе всю библейскую онтологию. Мы видим здесь, что мир производится актом божественного абстрагирования, и первой абстракцией /результатом и смыслом акта/ является дистилляция воды. Из неразличенности тоху-боху извлекаются стихии воды и песка как изначальный материал для последующей комбинаторики стихий. Мир появился, когда в нем появилось различное, и не исключено, что шуточная расшифровка имени Бога, предложенная кембриджскими генетиками, ближе всего к истине. GOD — Generator of Diversity /"Генератор разнообразия"/.

Итак, дистилляция воды как первая абстракция создает чистые стихии, послушные творческому импульсу. На втором уровне они уже логизированы, т.е. обработаны Логосом путем вычитания и абстрагирования и, следовательно, выведены из круга бесконечного метаморфоза. В мире, где воды отделены от суши, часть трансформаций, тем самым, запрещена.

7. Акт первой абстракции вносит в мир фундаментальную метафизическую новацию, имя которой — стабильность. Вот мысль, долгое время бывшая маргинальной в европейской философии: для неизменности, так же как и для изменений, должны быть свои причины. Эту мысль открыл для себя де Соссюр и положил ее в основание своей концепции языка, давшей начало структурализму. Выяснилось, что для поддержания неизменности языка необходимы постоянные усилия, причем усилия, идущие по нарастающей вдоль оси времени.

Предоставленный самому себе язык портится, обнаруживает склонность впасть в дурной метаморфоз — в непрерывное пластилиновое порождение /НПП/ — назовем это так, по аналогии с пластилиновыми мультфильмами. НПП разъедает "хорошие формы", кристаллизовавшиеся из языка — тексты культуры. Тексты, конденсировавшие творческий импульс, отрываются от материала живой речи, растворяются в водах забвения и уносятся ими, увы, не в будущее, а просто в настоящее. Носителю английского языка приходится тогда все чаще заглядывать в словарь при чтении Шекспира, пока он, наконец, не отложит в сторону эту иностранную книгу.

8. Спасительной оказывается только силовая инстанция, умеющая путем непрерывного вычитания /выбраковки плохих форм/, балансируя на грани срыва, удерживать стабильность. Соссюр рассматривал появление письменности, а затем и кодифицированной грамматики как прогрессию факторов неизменности в противовес естественной порче, диахроническому расползанию. Мы имеем здесь усилие абстракции по сдерживанию паразитарного пластилинового порождения, некий эквивалент божественного усилия по отделению воды от песка или зерен от плевел. Речь опять идет о запрете части трансформаций, без чего нельзя перейти от "тоху-боху" к "хорошо весьма".

Усилий языковых пуристов, вроде Корнея Чуковского или кодифицированной грамматики, оказалось бы совершенно недостаточно, и главная инстанция, стоящая на страже интересов вычитания, это, конечно, инстанция вкуса, точнее всего имитирующая Логос. Она работает как жесткий фильтр, не пропускающий суспензию дальше отстойника. Отстойник, или "живая жизнь", переполнен безвкусицей, главным продуктом НПП, неким хаотическим воссоединением воды и песка, происходящим всякий раз, когда ослаблено усилие дифференциации и сортировки, словом усилие вычитания. Зато литература, контролируемая инстанцией вкуса, следит за кристаллизацией хороших форм, отслеживая и безжалостно удаляя инерционно заносимые песчинки, засоряющие ноосферу.

Так называемый "магистральный путь развития" представляет собой остаток, получившийся после развоплощения и вычитания неуправляемых трансформаций, словом, — то, что просочилось.

9. Летейские воды или воды забвения воспроизводят в своем движении физику жидкости. Вода поднимается вверх по трубке /из которой выкачан воздух/, поскольку пустота создает тягу. Приглашение, которое невозможно отклонить.

Так и воды забвения поднимаются снизу по тонким капиллярам пустоты. Ничто не впадает в Лету, вопреки расхожей трактовке мифа, река мертвых приходит сама, откликаясь на приглашение пустоты, она течет вверх, поэтому течение ее неизменно, как и капиллярный эффект. Просто все вокруг увлажняется забвением, тем самым забвением Бытия, о котором говорил Хайдеггер. Но забвение или сглаживание божественного импринтинга — это одновременно и воспоминание — о предшествующем состоянии тоху-боху. Когда происходит забвение бытия, это значит, что первоначальная архаическая лишенность напоминает о себе, пожирая различия, непосредственные следы Божественной эманации.

Оскудение мира состоит в пропаже различий и соответствующем изглаживании горизонтов. Вот простая арифметическая иллюстрация Апокалипсиса /в первом приближении/. Обозначим акт творческого абстрагирования абстрактно:

$$a - b = c$$

В соответствии с традицией школьной арифметики "а" есть уменьшаемое, "в" — вычитаемое, "с" — разность. Апокалипсис тогда означает отмену результата вычитания, вследствие чего утрачивается разность и восстанавливается неразличенность. Послушаем, как Делёз и Гваттари определяют множественность: "Производство множественности отнюдь не всегда состоит в прибавлении еще одного измерения. Более общий путь заключается в переходе к измерению $n - 1$. Вычитание уникального впервые порождает множественность как "все прочее".¹

10. Для следующего шага понадобятся две фундаментальные идеи. Во-первых, понятие устойчивой формы, способной мультиплицировать себя в сущем, не поддаваясь при этом искажению. Это некая матрица, которая не снашивается в процессе распечатки и репродуцирования. Идея существует в двух основных вариантах: согласно Платону, эйдос дистанцирован, вынесен в трансцендентное, откуда он и вычитает, т.е. вытягивает без соприкосновения из хаоса свои подобию.

Для Аристотеля форма уже внесена вовнутрь сущего, заброшена в НПП в момент Первотолчка с тяжелой и беспросветной миссией упорядочивания. В любом случае существует отчетливая манифестация формы, именуемая законом — речь идет о способе ее присутствия и уведомления о себе. Результатом пребывания устойчивой формы является, например, вещь, сам принцип вещи.

Принцип вещи осуществляет себя как диктат, который слышен, dictat, момент Dictio, речи Бога, его Слова-Логоса. Хайдеггер, продумывая до конца идею устойчивой формы, резюмирует ее следующим образом: "Вещественность вещи, однако, не покоится в ее представляемой предметности и вообще определяется совсем не предметностью предмета".² Мастер вдумчиво и кропотливо изготавливает вещь, являясь в статусе мастера исполнителем непреложности. Годный для вещи субстрат изымается из НПП в соответствии с правилами, путем изоляции фрагмента сущего от безудержных трансформаций тоху-боху. Кожа для обуви дубится долго, чтобы избежать превратностей гниения, дерево для скрипки отмачивается годами, сок винограда закупоривается в бочку.

В формуле $a - v = c$ мастер занимает позицию "-v", он переносчик Абстракции или проводник вычитаемого; его цель — получение устойчивой разности — "Вещи".

Греческое слово "poesis", "про-изведение" означает не только выведение в непотаенность, не только "выведение в", но прежде всего — "выведение из", удаление от хаотических флуктуаций, вычитание из бесконечного порождения. Стало быть вопрос "что?" / что есть вещь, что выводится и про-изводится/ и вопрос "кто?" /кто выводит?/ следует предварить вопросом "откуда?" / предположим пока, что вопрос "куда?" ясен — в состоянии "хорошо весьма"/. Торжество устойчивой формы задается именно размножением вещей или их производством, человек появляется как посредник этого процесса, сверхэффективный оператор вычитания, некая самая последняя модификация, вынесенная вовне, автономизированная до ранга субъекта модификация, усилитель Генератора разнообразия.

11. В сущности, нечто подобное имел в виду и Маркс, говоря, что производство самого человека опосредуется производством орудий труда, т.е. в конечном счете, обретением привилегированной позиции в дистрибуции вещей, позиции про-изводителя, проводника.

Человек есть проводник принципа вещественности, всюду находящийся и порождающий объекты, кристаллик абсорбента, заброшенный в тоху-боху с целью дистилляции воды. Он проводник, по которому свыше передается божественное вычитание, передается "диктат", команда "произвести вычитание и сгруппировать вычитаемое в Вещь", удержав его тем самым от трансформации НПП, загнав в хорошую, устойчивую форму. Насколько успешной бывает трансляция свидетельствуют отдельные примеры сверх-проводимости. Рассматривая как-то в Эрмитаже экспозицию настольных немецких часов XVII века, я испытал странное ощущение, словно бы услышал отзвук Передатчика. У часов с табличкой "работа неизвестного мастера из Аугсбурга" была сломана часть задней крышки; присмотревшись к "внутренностям" часового механизма, я обнаружил, что шестеренки, даже расположенные в самой глубине, и оси, даже самые маленькие, украшены орнаментом, искусной затейливой гравировкой. Что, кроме диктата свыше, могло побудить мастера украшать невидимое и не предназначенное для человеческого взгляда? Сверхпроводимость позволила сохранить остаточный зов зовущего. Сломанная крышка стала местом утечки эманации. Стоя рядом можно было испытать слабый импульс истечения, достаточный для потрясения, но недостаточный для расшифровки смысла. Ибо сверхпроводимость утрачена.

Я пытаюсь восстановить единый дискурс, в котором соединяются Платон, Маркс и Хайдеггер. Речь идет о самовозрастании вещей, потребовавшем обособление позиции — вообще, интереснее всего было бы проследить цепочку приключений прогрессирующей автономизации, в результате которой "проводник" стал субъектом.

Во всяком случае, положительная полярность накопления, постулированная Марксом как коллектор предметов и предметности /принцип собственности/ носит явно вторичный характер. Ей предшествовала отрицательная полярность раздаривания. После

исследований Марселя Мосса и структурной антропологии Леви-Строса стало ясно, что первоначальная дистрибуция вещей осуществлялась путем раздаривания. Потлач, господствующая система доэкономического поэзиса, означала, что вещи не задерживаются у "владельца", а непрерывно переходят из рук в руки; отчуждаемые вождю в виде добычи или приношения, они вновь отчуждаются благодаря атрибуту щедрости, главному атрибуту вождя, а впоследствии и короля.³ Вещи не притягиваются к полюсу собственника /это позднее приобретение/, а отталкиваются функциональными дарителями и тем самым совершают круговорот. Борис Поршневу, изучая хозяйство раннего европейского средневековья, обнаружил, что почти повсеместно огромная роль принадлежит специальным указам, законодательно запрещающим или ограничивающим дарение.⁴ То есть мы имеем дело с мерами принудительными и даже насильственными — как еще назвать эти свидетельства легитимации происходящей смены полярностей?

Но потлач, предшествующий экономической дистрибуции, определял только внутренний круг циркуляции, он не достаточен для объяснения экспансии вещественности. Что было мотивацией изготовления, когда не было собственности?

И здесь придется постулировать трансцендентальный источник вытяжки, осуществляющий систематическое изъятие и уничтожение излишков и создающий тем самым нехватку, субстанциональную пустоту. Должна существовать черная дыра, отсасывающая уже воплощенные вещи во имя экспансии принципа вещественности; похоже, что новая вещь могла создаваться только после освобождения места, занимаемого прежней вещью.

Местом топографической привязки черной дыры служил алтарь жертвенника, своеобразный "минус-коллектор", куда тысячелетиями притягивались несметные ценности и сжигались в огне всеожжжения. Вещь, уничтоженная таким или каким-то подобным образом, считалась посвященной /адресованной/ Богу, ибо, тем самым, реализовывалось ее внешнее, трансцендентальное предназначение. Забившиеся ячейки хороших форм регулярно прочищались, чтобы извлечение эссенции из НПП могло продолжаться.

Так, через трансцендентальный отрицательный полюс происходил сброс готового продукта, и вновь приходится вспоминать трубку Торичелли как наиболее точную модель происходящего. Циркуляция вещей регулируется неким гигантским вакуумным насосом, создающим тягу. Чем лучше тяга, тем сильнее пылают на жертвенниках богатства царей, знати, воинов, и праведников, тем сильнее стимул для каждого из них к новому про-изводству, изведению сущего в форму вещественности, и через нее дальше, в небытие. В этом процессе мы узнаем изначальный творческий акт вычитания, самую яркую и характерную манифестацию Логоса.

Мы начинаем понимать, что пыталось высказать напряжение мысли натурфилософов-досократиков, пока развитие математики не приучило к безобидности комбинаторики, абстрагировав круг вторичных операций. "Огонь живет воды смертью..." и т.д. — это Гераклит пытается объяснить себе и нам осуществляемое из трансцендентного источника вычитание, сквозную тягу Божественного выдоха. Демиург не похож на гончара, создающего чашу. Господь размножает чашу, используя гончара как рабочий орган, вдоль которого смещается круг сущего и уходит дальше, получив отпечаток чашности. И сам круг есть Колесо Лао-цзы, о котором китайский мудрец сказал: "44 ступицы сходятся к центру колеса, но пользоваться им можно только благодаря пустоте посередине". "Поэзис" связан с ускорением естественного хода вещей: ход вещей сменяется их бегом благодаря продуваемой аэродинамической трубе сквозного вычитания, трубе, в которую вылетает все, все что изводится в про-изводстве.

12. И вот мы приближаемся к кульминации нашей истории, к загадочному пункту смены полярностей. Нам предстоит объяснить нечто удивительное: как заработал коллектор-накопитель, остановивший вытяжку вещей через черные дыры жертвоприношений и завертевший колесо в обратную сторону? Как стала возможной комбинаторика накопительства, не только не замедлившая *poesis*, но и увеличившая обороты изведения?

Решающим открытием антропологии было опровержение изначальности "собственнических задатков". Наивные представления разумного эгоизма рухнули, как только выяснилось, что стремление к приумножению материальных благ представляет собой весьма сложную конструкцию, не только лишенную всеобщности, но прямо-таки уникальную на широком историческом фоне. Спектр эгоистических устремлений, хотя и прикрыт иновидностью, отнюдь не достигает "сущностных глубин" человеческого; он сам есть прикрытие, он вторичный результат помех, препятствующий сверхпроводимости Логоса. Но если такие экзистенциально-психологические характеристики как "трудолюбие", "алчность", способность к отложенному потреблению, управляемость ответвившимся от вещественности стимулированием являются не предпосылками экономики, как думали Гельвеций и Адам Смит, а скорее ее производными, то в чем тогда сущность радикального изменения поэзиса, повлекшего столь многочисленные последствия?

Макс Вебер связал переориентацию полярностей с особенностями протестантской этики; кажется, и в самом деле ответ лежит где-то рядом. Кратковременное торжество сложения каким-то образом связано с уклонением от миссии, с прогрессирующей глухотой к Божественному Диктату.

13. Теперь, вслед за идеей устойчивой формы, рассмотрим еще одну идею, связанную с манифестацией Демиурга. Вещь есть результат исходной Абстракции, извлечение сущего из тоху-боху. Само сущее отличается от хаоса прежде всего расслоением, прослойками пустоты, пересекающими непрерывность трансформаций. Всматриваясь в топику прослоек, мы сначала реагируем на самые яркие контуры, наиболее отчетливо проступающие из НПП. Человек замечает прежде всего объекты; он натренирован распознавать их и выслеживать, подобно тому как охотничий пес натренирован делать стойку на вальдшнепа.

14. Объекты оче-видны, они "даны сразу", т.е. встроены а priori в структуру предметного восприятия, объектное членение мира даруется субъекту одновременно с присвоением собственной полноты присутствия, с вхождением в *Dasein*. Но произвольное или непроизвольное расфокусирование натренированного на объект восприятия позволяет взять левее, взять конфигурацию, уклоняющуюся от очевидности или не доходящую до нее.

Так, наряду с традицией Платона и Аристотеля, наряду с доминирующей философской традицией отслеживания и описания хороших форм, существует и иная традиция — работы с видоизмененным оптическим фокусом, в результате чего удается выявить мерцающие фигуры не-очевидного. Таковы, например, гомеомерии Анаксагора или "семена вещей". Сюда же относятся монады Лейбница и ризомы Делёза и Гваттари.

15. Принцип гомеомерии — неразличимость краев в пространственно-временном континууме, общая размытость контура, которая не позволяет удерживать одну и ту же степень реальности.

В гомеомерии реализован иной тип вычитания; операция выполнена здесь таким образом, что остается внутренний глубинный стебелек, соединяющий вычитаемое с первичным бульоном НПП, с уменьшаемым. Через эту горловину трансформации

проникают вовнутрь. Получается шевелящийся комочек, голый слизень. Пульсирующая плазма жизни.

16. Если присвоить себе трансцендентную позицию, можно заглянуть в гомеомерию, как в глазок, и тогда мы увидим бушующий первичный расплав, океан тоху-боху. Мы располагаем репортажами тех, кто уже заглядывал в глазок, например, Лейбница. Лейбниц был точен: монада содержит в себе все, но, скажем так, содержит с разной степенью актуальности. Вообще, репортаж может стать поводом для нескончаемых парадоксов: тут же выясняется, что через "любой" глазок мы увидим то же самое; увидеть разное можно лишь в том случае, если мы выглянем изнутри. Более того, взгляд изнутри дает некую бесконечную разность, которая есть не что иное как рельеф самой монады, и в этом смысле "монады не имеют окон".

17. Принцип монады гомеомерии, стоит лишь его продумать до конца, приводит к странной метафизической конструкции, на которой я хотел бы остановиться. Сгустки живой плазмы, если лишить их экземплярно-организменного завершения, то есть последнего штриха, представят собой гомеомерию в чистом виде. Они суть резервуары тоху-боху, сохранившиеся каким-то образом в упорядоченной слоистости сущего. Как это ни покажется странным, но именно живая плазма несет в себе заряд исходных бесконечных трансформаций, то есть ее "упорядоченность" лежит ниже первой степени порядка.

После первой манифестации Логоса, выразившейся в расслоении сущего (говоря языком физики — в появлении уровней материи), Демиургом были оставлены сквозные прорехи, в которых пульсация хаоса продолжала биться. Тогда "организм" — не что иное, как колпачок, одетый на прореху и увенчивающий ее.

Сквозные колодцы, наполненные непрерывным порождением, проходят через мир, где вода уже отделена от суши, где путем Абстракции задан минимальный порядок уровней. Стало быть, из двух компонентов, а именно — живой плазмы (субстанции жизни) и окружающей среды — второй компонент заведомо "умнее"; он представлен как организация, как многоступенчатая разность. Архаический живой стебелек, лишенный внутри себя даже уровней, увенчивается, покрывается организмом, как коконом, — но лишь за счет аннигиляции окружающей организованности, за счет считывания алфавита. Греческое слово "стохейон" означает одновременно "стихии" и "буквы", алфавит; абстрагированные друг от друга стихии и составляют зримый дискретный алфавит сущего. Фонтанчик НПП, прорывающийся через скважину, считывает буквы-стихии необратимым образом, стирает дискретный код организации, но благодаря тому, что диаметр разъема ничтожен, подкорка логофагов не наносит видимого ущерба космосу, и он пребывает в состоянии "хорошо весьма".

Рано или поздно биологии предстоит радикальная смена исходной установки. Антропоморфная и мифологическая по своим корням идея, будто жизнь есть завиток организации в дезорганизованности сущего, в стохастической раскладке Вселенной, явным образом исчерпала себя. Целесообразность органического есть не что иное, как целесообразность мира, взятая со знаком минус. "Умное" поведение особи возможно лишь потому, что "мир умен", можно сказать, что "функция ума", все поразительные хитрости, неизменно восхищавшие первых натуралистов, записаны не внутри живой полости, а снаружи. Стратегия адаптивного поведения, включая сюда самые поразительные, квазираассудочные действия — например, гнездостроительную деятельность птиц, целиком сводится к проеданию божественного порядка. О том, что живая природа целесообразна "не своей" целесообразностью, этология уже начала догадываться, во всяком случае, с появлением пионерских работ Н.Тинбергена.⁴ Чайка высиживает яйцо, тщательно поддерживая температурный режим, меняя позу тела и

продолжительность высиживания, она избегает перегрева и переохлаждения. Казалось бы, весьма убедительный пример высокой организации. Но если положить в гнездо рядом с ее яйцом искусственное яйцо, параметры которого выдержаны определенным образом, чайка выталкивает собственное яйцо и начинает высиживать подделку. Полностью сохраняя при этом "высокоорганизованное" поведение. Пчела находит дорогу к улью на расстоянии нескольких километров (что уж говорить о том, что она "посрамляет некоторых архитекторов"). Но если вырезать из сотовой ячейки дно, пчела будет продолжать складывать туда взятки как ни в чем не бывало. Она будет подкармливать пустоту.

После Тинбергена были проведены сотни подобных опытов на самых разных представителях животного мира — и все они принесли однозначный результат: стоит лишь немного сдвинуть привычный ход вещей, чуть-чуть подглупить в пустом месте умную среду обитания, и пресловутая целесообразность исчезает мгновенно, манифестация живого обнаруживает тогда свое "внутреннее"; а именно: маятникообразные колебания абсурда. Если скормить беспорядок ненасытному стебельку (а вернее, не давать "поедать порядок", предварительно разрушая его), он никогда не покроется на поведенческом уровне коконом организма; пульсация живой плазмы начнет производить череду бессмысленных трансформаций, отличающихся от НПП только остаточной морфологией, то есть функцией времени, результатом уже съеденного порядка. Но и она быстро растворяется подступающим мельканием тохубохи; заглянув теперь в глазок этой гомеомерии, мы сможем распознать картину, открывшуюся инфраоптическому зрению поэта:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил...

.....

/О.Мандельштам/

Это пример внутреннего созерцания шевелящейся субстанции жизни в момент отлива от восходящей иерархии организмов внутрь, в ризому. Активизированная плазма вытягивается в подземный колодец: тигровость покидает тигра, оставляя инерционно движимое чучело: если умная конфигурация среды фальсифицирована, и прежняя форма тем самым вычеркнута для мягкой глины, для мякоти живого, стоит лишь переставить буквы стохейона, и новое считывание не породит организма или создаст бесконечную тератологию — результат перестановки творящих божественных слов, перверсии слогов и окончаний. Одомашнивание животных и растений — первый результат прикладной тератологии — сводится, в конечном счете, к искажению формулы "да будет так", к метаграмматической перестановке стихий: "да будет этак!". Ведь алфавит ДНК, в котором записан приказ: "Построить организм" состоит из зеркально перевернутого прочтения букв стохейона. Дискретный код букв-стихий, обрамляющий края конфигураций, содержит, по словам Поля Валери, "сплошное безжалостное перечисление, бесконечное и т.д.", то есть сообщение предназначенное для доразумного считывания, в котором разум стремительно пробегает лишь оглавление, ибо способен вслушиваться в прямой Dictat, наговаривающий парадигму сущего: "да будет так".

18. С целесообразностью живого организма дело обстоит так же, как с "умной" машиной. Интеллектуальность ее деятельности обеспечивается не внутренним устройством, а тем, что поставщик обеспечивает ей регулярную поставку осмысленных, "умных" задач, извлеченных (абстрагированных) из смеси гомеомерий повседневности. Машины, стало быть, пасутся на хорошо культивированном поле и поедают специально выращенные задачи; стоит им отклониться немного в сторону, и в зарослях повседневности они не найдут ни одной "съедобной" задачи. С другой стороны, если имитирована чистая форма задачи, без сохранения смысла, машина проглотит ее за милую душу и выдаст соответствующий, абсолютно бессмысленный результат, доказывая тем самым, что ум записан вовсе не в ее устройстве, не в полости внутреннего, а именно в топике поля задач.

Программисты любят развлекаться конструированием хитроумных задач-ловушек (пожалуй, это своеобразный тест на мастерство). Поглотив такую, соответствующую всем внешним параметрам конструкцию, компьютер продолжает свою работу, свою "активность", но при этом в прогрессирующем масштабе начинает выдавать какую-нибудь абракадабру.⁶

Налицо полное сходство с продолжающейся деятельностью улья: все идет как обычно, но в сотах выломаны доньшки... Стало быть, исходное приложение ума или промысел — как Божественный, так и человеческий, состоит в предварительной прополке поля от всех "не-задач" или "плохих задач, в абстрагировании или дистиллировании вселенской смеси до дискретной иерархии стихий, после чего можно выпускать пастись устройства, которые будут теперь умны, или позволить просочиться хаотической плазме, которая прочтет в раскладке стохейона приказ "построить организм" — и все будет "хорошо весьма".

Всякий прочитавший сам становится носителем сообщения, видоизменяя исходную конфигурацию; вот почему жизнь есть книга, которая сама себя читает и тиражирует, но пишется кем-то другим.

19. Онтологически гомеомерия-ризома — это контр-эманация НПП в свершившуюся и свершаемую эманацию Бога. Гомеомерия есть то, чему позволено быть, компактное присутствие "всего сразу" (тоху-боху), но в дозволенной дозировке и в окружении абстрагированных из нескончаемого порождения стихий, дискретных уровней сущего. Поэтому ризома "проще" объекта по своей глубинной сути, но она, как бы между прочим, может пребывать и в состоянии объекта, если такой приказ будет фиксирован

среди мелькания состояний. Вся поверхность ризомы — сплошная граница, за исключением тонкого стебелька — капилляра, соединяющего ее с океаном хаоса, с недистиллированной питьевой водой. Она и есть живая вода, глубочайшая метафора субстанции жизни. Ее "Свойство" — способность к непрерывной трансформации, ограничиваемой только Логосом, Божественным Промыслом, заключающимся в вычитании-извлечении хороших форм. В "чистом виде", в отсутствии ограничений иностихийностью это свойство чудовищно, оно разворачивает зону сплошной тератологии, и можно сказать, что главная опасность для высокоорганизованной жизни состоит в неконтрольном разливе живой субстанции, в расширении "стебелька" ризомы и увеличении давления НПП.

Концепция архаического порождения, пока еще не осмысленная современной биологией, присутствует у Эмпедокла:

"... Как выросло много безвзвешных голов
Голые руки блуждали, лишённые плеч
Блуждали одинокие глаза, не имущие лбов".
/В 57/

По свидетельству Псевдо-Плутарха: "Согласно Эмпедоклу первые поколения растений и животных родились вовсе не целыми, но разъятыми на несросшиеся части; вторые, в результате беспорядочного сращения частей фантомообразными; третьими были поколения цельнорожденных существ" /А 72/.

Идея Эмпедокла едва ли соответствует действительной истории эволюции жизни, но она точно описывает имманентное шевеление живой плазмы в отсутствии приказа "построй организм".

Почему в мифах и сказках, где речь идет о живой и мертвой воде, для воссоздания жизни спрыскивают сначала мертвой а потом живой водой? Что будет, если поступить наоборот?

"... чудища..."

Крутоногонерасчлененнорукие" /В 60/ — отвечает Эмпедокл, т.е. активирование нескончаемого пластилинового порождения /НПП/, имманентная манифестация тохубоу.

Первичное опрыскивание "мертвой" водой (эманация Логоса) производит выборку-фиксацию хороших форм, и тогда вторичное вливание живой воды (контр-эманация НПП) активирует уже не монстров и, строго говоря, даже не сами первичные формы (образующие стохейон, иерархию стихий) — а пустоты, прилегающие к ним. Живая плазма заполняет то, что осталось незаполненным после достижения состояния "хорошо весьма", после произведенного Вычитания.

Современная биология унаследовала мифологему Платона, а не Эмпедокла. По Платону, эйдос, зримый облик живого, создается путем считывания-подражания Первозйдосам, то есть непосредственной распечаткой матриц Замысла, удержанием нисходящего Логоса.

Оживотворение в этом случае — простая разновидность овеществления, и понятие гомеомерии становится излишней сущностью, отсекается бритвой.

Концепция Эмпедокла-Анаксагора круче хотя бы потому, что до сих пор не стала банальностью. Принцип овеществления, или прямого считывания, отвергается. Эйдос живого формируется путем задержания восходящего хаоса (контр-эманации НПП), благодаря перевернутому, изнаночному считыванию заставаемых в мире конфигураций.

Рис.2

Оба рисунка, воспроизводя один и тот же эйдос, демонстрируют разные способы его получения. При этом второй, иллюстрирующий представления Эмпедокла, объясняет потенциальную бесконечность монады — гомеомерии, которая заселяет промежутки пустоты. Видно, что экспансия гомеомерии к актуальной бесконечности сдерживается встречным давлением четкой иерархии сущего, раскладкой стихий, стохейоном. Зыбкая равнодействующая двух давлений формирует привычный эйдос живого, подкрепляемый механизмом тройного переворачивания. Устойчивый облик ризомы, являющийся изнанкой внешнего мира, прилегающей среды, зеркально кодируется в ДНК, а затем вновь зеркально считывается при выполнении команды "построить организм".

При этом, благодаря инерции, "изнанка" может продолжать свое воспроизводство даже тогда, когда уже распалась матрица, уже отсутствует то, чего она изнанка.

Таким образом, обезьяна есть, в сущности, вывернутый наизнанку банан. Каждая живая форма это оттиск соответствующего ей пустого просвета в иерархии сущего и происходящего, где "выпуклостям" соответствуют "вогнутости" и наоборот. Делёз и Гваттари справедливо подчеркивают, что ризома имеет бесчисленное количество поверхностей или зон соприкосновения с преднаходимой раскладкой бытия. Эйдос лучше всего рассматривать как фиксированное, продиктованное извне состояние ризомы, кристаллизованное на всех уровнях — от оптики и чистой геометрии до уровня поведения (этологи) и генного трансфера. Поскольку далеко не все преднаходимые ячейки-просветы имеют предложить какую-нибудь целесообразность, втиснутая в них живая плазма проходит по ведомству тератологии; пульсирующий передний край жизни представляет собой царство крутоногонерасчлененнорукости. Правда, его бесчисленные "обитатели" настолько эфемерны, что вновь поглощаются мельканием тоху-боху, не успевая затвердеть в каком-либо эйдосе или, тем более, построить организм. Нужно воображение и проницательность Эмпедокла, чтобы внести это мелькание в поле зримости.

Но зато эфемеры-неудачники, втиснутые "не туда" сглаживают и амортизируют передний край, успевая создать лучшие просветы идущим вослед трансформациям НПП. Банан растет как памятник миллионам поглощенных назад анти-бананов и, одновременно, как пьедестал для изнаночного мета-банана, нашего славного предка.

Как жаль, что уцелели лишь разрозненные фрагменты гениальной поэмы Эмпедокла:

Но теперь я вернусь назад на тот самый путь песен
 Когда распря достигла самого дна
 Вихря, созданного любовью
 Собиравшего добровольно одно отсюда, другое оттуда
 В этом смешении отливались мириады племен смертных
 существ
 Где многие /части/ остаются несмешанными,
 Чередуюсь с тем, что смешались и смешиваются
 Удерживаемые Распрей во взвешенном состоянии
 Ибо она не вся еще изошла из сфайроса-центра
 К крайним метам круга
 И насколько она всякий раз вырывалась-вперед-в-беге,
 Настолько неизменно настигала ее
 Безупречная любовь в своем ласковом бессмертном порыве
 Внезапно стали рождаться в виде смертных те,
 Что прежде навыкли быть бессмертными
 И разбавляться, сменив пути те, что прежде были
 беспримесными
 А от их смешения отливались мириады племен смертных
 существ
 Уснащенных всевозможными формами — чудо на вид!
/"О природе". В 35/

20. Мне представляется убедительным понимание организма как определенного типа реакции на мир объектов со стороны монады-гомеомерии. Нечто, поднимающееся из глубин, движимо вверх тягой пустоты, то есть произведенным опустошающим Вычитанием. Оно застаёт преднаходимое устройство сущего и реагирует: прикидывается, оборачивается организмом. Несомненно, в случае другой заставаемой раскладки мира, нашелся бы другой ответ — иной тип реакции.

21. Как следствие такого подхода, тайна происхождения жизни сильно понижается в ранге (хотя и становится более сладострастной, как всякая тайна изнанки). Недавно исследователи А.Вейс и А.Кернс-Смит открыли феномен "глиняной жизни". Известно, что глина состоит из слоев и пластов, которые при избыточном увлажнении начинают разбухать. При этом внутренние слои последовательно копируют топографию внешнего слоя.⁷ Вязкая силикатная грязь имеет почти все аналогии важнейшим органическим процессам, в т.ч. и "квоту искажений" (мутаций), растущую по направлению сверху — вниз, к внутренним пластам, и конкурентную борьбу между пластами за ассимиляцию первичного раствора. Нусинов и Глейзер делают следующий вывод: "Таким образом, результаты экспериментов указывают на то, что глинистые минералы являют собой природную неорганическую систему, вполне способную к матричному размножению и эволюции" /с.34/.

Мы видим первую, неудачную попытку разрастания жизни из глины и праха, видим безобидных монстров, потомков от первого союза воды и песка. Проницательные авторы шутят: "В пределах глины отчетливо проступает многое, что казалось уникальной особенностью углеродной органики. Может быть, долгий путь эволюции освободил живые организмы из глиняного плена"./Там же/ Может быть. И тогда вполне оправдана песенка о глиняных обидах.

Глиняная, силикатная жизнь зачахла, сменилась унылым вялым бульканьем ("бобок, бобок"), когда напор НПП прошел выше, сгущаясь в высокой пустоте уже не в глиняное,

а в органическое тело. В Тело-без-органов, открытое Делезом и Гваттари путем уже совсем другой аналитики. Но архетип точен, ибо органы суть временные, выбрасываемые и вновь поглощаемые состояния тела.

Если сделать фотоснимок с огромной выдержкой, порядка миллиона лет, органы будут размазаны вокруг Тела как некая туманность — шлейф облака. Такой фотоснимок, будь он сделан, стал бы подтверждением (или опровержением) концепции Эмпедокла-Анаксагора-Делеза-Гваттари-Секацко.

22. Биология постепенно подходит к осознанию того факта, что возникновение жизни "не носит однократного характера". Вернее всего будет считать это не событием, а вполне рутинным процессом, простым эпифеноменом прохождения контр-эманации через иерархию сущего, уже упорядоченного до состояния "хорошо весьма". Уникально вовсе не возникновение жизни, а ее длительность или, вернее, "дление", бергсоновское "durite" и уход от крутоногонерасчлененнорукости. Жаль, что Эмпедокл не мог показать своим древнегреческим оппонентам пластилиновых мультфильмов. Тогда они сообразили бы, что воистину чудо состоит в сохранении удачных ответов из бесконечного числа ответов невпадет. Способность реагировать организмом — самым подходящим универсальным ответом на превратности бытия и способность воспроизводить ответ при всех попытках сбить с толку.

Мне нравится определение организма, данное Н.А.Бернштейном, проникнутое осмысленностью и пониманием: "Организм — это организация, сохраняющая свою системную самотождественность, несмотря на непрерывный поток как энергии, так и вещества, проходящих через нее. Несмотря на то, что ни один индивидуальный атом не задерживается в составе клеток организма дольше самого краткого времени, организм остается сегодня тем же, чем был вчера".⁸

Едва ли есть в мире большее чудо, чем способность оставаться сегодня таким же, как вчера. Первоабстракция, отделившая воду от тверди, по своей внутренней сути была абстракцией отождествления, обузданием изменчивости. Господь Саваоф отчасти выбил дурь из дурной бесконечности, так сказать, поучил ее уму-разуму. Ум-разум, то есть Логос был явлен в виде кнута. Шесть дней пришлось охаживать тоху-боху бичами, пока оно научилось откликаться на имя "Природа", а потом уже пришел человек и стал наказывать скорпионами.

23. Сфокусируем теперь для дальнейшего рассмотрения следующие темы (или, лучше сказать, ассоциативные ряды): улитка — мякоть — симметрия раковины; непрерывность возникновения как рутина и загадка неизменности; безжизненный объект и живой слизень. Сейчас нам предстоит аналитическое расщепление феномена "жизнь" на две элементарные составляющие.

Составляющая Ж1 представлена как бесформенность и крутоногонерасчлененнорукость живой плазмы; аналитически она задана как принцип монады в противоположность принципу фиксированной формы, в противоположность объекту или вещи. Монада богаче объекта благодаря бесконечности потенциально возможных состояний. Пафос противопоставления достаточно ярко выражен у Делёза и Гваттари, однако бесконечность, переливающаяся в монаде-ризоме-гомеомерии, — какова она: умная или наоборот? Если умная, просчитанная Логосом, содержащая в себе элементы телеологии, то понятие ризомы становится излишним, а ирония Аристотеля в отношении к Эмпедоклу вполне справедливой. Если наоборот (что как раз и имеет место), то излишним становится пафос; Ж1 тогда — остаточная манифестация "варварского", нелогизированного бытия. Составляющая Ж1, предоставленная самой себе, собственному "внутреннему импульсу" не в состоянии породить не только целесообразности живого, но даже элементарный difference.

Поэтому "объект", конечно, беден. Но беден он "дурью", той, что имеется в изобилии у монады с ее дурной бесконечностью. Можно сказать, что объект лишен встроенной потенциальности, внутреннего генератора инобытия. А можно сказать, что он избавлен от превратностей НПП.

Объект абстрагирован от (из) шлейфа своей собственной потенциальности, но он абстрагирован свыше, он тем самым, для себя спасен абстракцией отождествления, вынесен творящим вычитанием в мир самотождественности. Вспомним еще раз тот гениальный пластилиновый мультфильм, где чудак-мужичок, схватив волшебную палочку (ясно, что ее функция, как и функция всякого волшебства — отмена Вычитания), был втянут в воронку НПП. Далее моделируется ситуация максимального ужаса и, одновременно, максимального по своей интенсивности желания: "Остановите метаморфоз!". Где угодно, в любой точке, только остановите. Будда говорил: "Прекрасно созерцать всякую вещь, но страшно быть ею". Он умолчал о самом страшном — об ускоряющем круге перевоплощений, сходящимся, как в черную дыру, в жерло НПП.

Сошлюсь еще на Тай Лю-цзин, "Книгу мудрости учителя ЛЮ". "Сказитель пел о мудром и могущественном царевиче Цяо, который летал на белом журавле и обладал магическим даром превращаться в рыбу, в цикаду, в туйлю.

Очарованные слушатели внимали певцу и поражались мудрости царевича Цяо. Однако присутствовавший Лю заметил, что один из двух лишен мудрости — либо сказитель, либо царевич.

— Но разве волшебные способности царевича не говорят о его великой мудрости? — возразил один из слушавших.

Лю сказал:

— Всякому волшебству есть предел, и если человек добровольно пожелает превратиться в туйлю, никакие силы уже не помогут ему вернуть человеческий облик. Вдобавок, даже путник, пожелавший согреться у ледника, был бы менее глуп. Что же касается способности превращать себя в вещь, то это совсем не редкость. Такими несчастными полна Поднебесная".⁹

Фактически мы имеем дело уже с прирученным метаморфозом, имитирующим и симулирующим мир объектов. Это, стало быть, весьма частный случай, в грандиозной классификации метаморфозов он занимает некую боковую строчку с ярлычком "обратимые метаморфозы с пробегом фиксированных состояний".

Но у этого случая имеются и еще более частные "подслучаи"; один из них, называемый "развитие", провозглашали когда-то общим законом бытия. Что же касается абсолютного метаморфоза (НПП), объемлющего, как океан, островок сущего, то пробег в нем можно, конечно, назвать необратимым (состояния не запоминаются), но эта характеристика будет, увы, бессодержательной, поскольку в НПП отсутствует различие между "состоянием" и "не-состоянием". как уже было сказано, абсолютная степень лишенности — это лишенность различий.

24. Объект, абстрагируемый из нескончаемого пластилинового порождения в хорошую форму, получает тем самым щедрый дар (present). Он становится чем-то настоящим (present). Дар присутствия, богатство различий. Различий ровно столько, чтобы хватило для самотождественности. Понятно, что для реальности более высокого ранга, чем объект — например, для субъекта и, тем более, для Я — такого запаса различий слишком мало. Но их как раз достаточно для той степени упорядоченности сущего, которую мы именуем объектом. Более того, объекты, извлеченные в вещественность, в онтологическое измерение, помечаемое Абстракцией свыше, обладают даже избытком различий. Именно эту щедрость хорошей формы поэтично описывает Хайдеггер в своем эссе "Вещь".

О наличии избытка говорит и то, что мы можем позволить себе пренебрежение в оценке; мы можем сказать: это "всего лишь объект, всего только абстракция... Древо жизни пышно зеленеет, а абстракция, как известно, суха и мертва.

Мы почему-то не хотим додумывать, что "древо" обязано своей пышностью бесконечности отношений с фиксированной иерархией сущего, говоря топологически — многомерной узорчатой конфигурации проема, куда впрыснута "древесность", еще даже не получившая свое имя. Все состояния, принимаемые древесностью (в смысле — древесностью древа жизни), ограничиваются, то есть определяются сопротивлением преднаходимых объектов — умным полем задач или, напротив, роковыми обстоятельствами.

Действительное богатство жизни даровано извне, оно записано в обстоятельствах происходящего, в моментах взаимного об-стояния "песчинок", совершенно сухих и абстрактных, ибо извлеченных Абстракцией из НПП в чистоту стихии. В их абстрактной бедности заключена гарантия многовариантности ризомы, скрыт действительный шифр мощи и размаха живой гомеомерии. Ведь развертывание потенциального, процессуальность жизни, предполагает, по крайней мере, гаранта или эталон для различения состояний и несостояний и для различения состояний друг от друга. Используя комбинаторику стихий, древний метод Фалеса, нетрудно усмотреть главный продукт творения. Нетварные воды поднимаются вверх, заполняя промежутки в преднаходимой отдельности, экземплярности сущего. Каждая встреча воды и песка порождает свою процессуальность. Что здесь является первым в ряду условий происходящего? Ответ один: пустота.

Она и есть главный продукт творения. Конец первой части

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Deleuze G, Guattari F. Capitalism and Schizophrenia. V.2. A.Thousand Plateaus. Minneapolis, 1987. P.6.
2. Хайдеггер М. Вещь. // Историко-философский ежегодник. М., 1989. С.270.
3. См. подробнее: К.Леви-Строс. Печальные тропики. М., 1985.
4. Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964.
5. См. также: Maynard Smith. The Theory of Evolution. Harmondsworth. 1975.
6. П.Валери. Об искусстве. М.-Л., 1936. С.76.
7. Artificial Intellect and Basic Knowledge Simulation. ed.S.Hock. Balt. 1991.
8. См. об этом интересную статью С.Глейзера и М.Нусинова "Ты сам ведь из глины меня изваял". "Знание — сила". 1985, ь 9.
9. Н.А.Бернштейн. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М. 1966. С. 313.
10. A.Source Book on Chinese Philosophy. v.2. Princeton 1972.

ЭЙДОС И ЛОГОС ГОРОДА. Припоминание.

Любава Морева

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах; в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть:
Андрей Белый

Существующие ныне города, когда подлетаешь к ним ночью, кажутся феерическим скоплением огней. Какая-то земная чудо констелляция!

В ранний предрассветный час, когда прозрачные сумерки гасят огни, но еще отсутствуют шаги и голоса, город, как разросшийся в причудливых конфигурациях до необъятности замок, выросший из-под земли и живущий своей независимой жизнью, медленно очерчивает вертикаль своего движения и как бы взлетает сам к небу.

Момент следующей метаморфозы почти неуловим, и тем более разителен: когда это торжественно тревожное пространство вдруг просыпается и, очнувшись, выплескивает на улицы все, что движется, скрежещет, торопится, тормозит, перешептывается, ругается, смеется, кричит и плачет, спрашивает, отвечает, мрачно или безразлично молчит, в каких-то точках напряженно, нервно или расслабленно скапливается, добивается или не добивается желаемого и, в конечном счете, проглатывается обилием дверей, пассажей, некрополей.

Города, как и люди, живут ритмом дня и ночи.

Так, по крайней мере, кажется, если смотреть на них с отдаленной дистанции "птичьего полета".

Людям города могут сниться. Люди могут любить города или их недолюбливать, могут к ним относиться почти равнодушно. О городах люди умеют мечтать и даже создавать непревзойденные пока жизнью Утопии, — таким образом обозначил некогда свой "Город Солнца" один из средиземноморских узников и мечтателей. Он пытался мыслить город-совершенство. И при этом с неуклонной последовательностью почему-то моделировал не что иное, как город-узницу; таков, видимо, неизбежный итог всякого усилия мыслить тотальную завершенность совершенства. Здесь "все наилучшим образом предусмотрено, поскольку этот Город зиждется на учении о метафизических первоосновах бытия, в котором ничто не забыто и не упущено"(1, с. 137). Здесь даже не упущена возможность неоспоримого доказательства присущей человеку свободы: ведь "если в течение сорокачасовой жесточайшей пытки, какою мучили одного почитаемого ими философа враги, невозможно было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то, следовательно, и звезды, которые воздействуют издалека и мягко, не могут заставить нас поступать против нашего решения" (1, с.124). (Да не потревожим мы духа достопочтенного Томмазо Кампанеллы кажущейся необязательностью наших воспоминаний!)

Итак, "открытое посредством философских умозаключений, мыслилось некое идеально устроенное пространство — "счастливое и снисходительное" — где все приведено к умеренности (таков для мыслителя синоним "добродетели"). Здесь, конечно же, с логической неизбежностью должен включаться (и включается!) механизм уничтожения: в некотором перечислительном ряду "уничтожается жадность — корень всех зол, и обман..., и кражи, и грабежи, и излишество, и уничтожение бедных, а также

невежество..., уничтожаются также излишние заботы, труды, деньги, скупость, гордость и другие пороки, которые порождаются разделением имуществ, а равным образом — себялюбие, вражда, козни..." (1, с.154).

Метафизическое стремление, по словам мыслителя, "к нравственности, на которой покоится Город Солнца", поистине создавало покойный город, в котором по тому же замыслу оказывается разрешенным (в смысле "решенности") главное, а именно: здесь "находит успокоение совесть". Таковы архетипы сновидческого счастья, этого бесконечного повторения "сна смешного человека". В нем могут слегка варьироваться аллегорические ряды, может происходить некоторое перераспределение главных ролей, но конечная фабула и развязка драмы оказываются неизменными. Мощь, Мудрость и Любовь — три непревзойденных со-правителя во главе с Метафизиком (он же Солнце) — аллегорез тотально контролирующей силы: "ничто не совершается без ее ведома". Город хоть и немногочисленен, но разнообразно населен: Грамматик, Логик, Физик, Медик, Политик, Этик или Моралист, Экономист, Астролог, Астроном, Геометр, Космограф, Музыкант, Перспективист, Арифметик, Поэт, Ритор, Живописец, Скульптор... — главное, все сочтены. Кратки и ясны их законы: "они вырезаны все на медной доске у дверей храма; ...на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и т.д. Все это определено очень тонко. Там же начертаны определения всех добродетелей" (1, с.100).

Сама архитектура созданного фантазией философа города в металле и камне запечатлевает эмблематику установленных рассудком истин; идеал изготовленных с надежной гарантией клише организует бытийное пространство с заданным алгоритмом физических и ментальных "движений" человека-пчелы, счастливого обитателя фантастического города-улья.

"Смешной человек" Достоевского успел проснуться в своем сне, чтобы воскликнуть: "знание законов счастья — выше счастья" — вот с чем бороться надо!" 2. Серьезный Кампанелла в своей нелегкой, полной не только испытаний, но и пыток жизни сохранил уверенность, что "памятники в честь кого-нибудь ставятся лишь после его смерти" (1, с.107). Легко сегодня иронически уличать в наивности мудрого философа, но кто знает, не повторится ли в жизни еще раз этот сон?

А если припомнить мечту непревзойденного Платона, высокую, прекрасную мечту о Городе, то ирония и вовсе исчезнет. "ПЛАТОНОПОЛИС" — таково имя этой мечты. Переплетая две замечательных судьбы — Платона (IV в. до Р.Х.) и Платина (III в.) — сливая их в один, увы, так и не состоявшийся эксперимент, мечта эта несла в себе целый сонм вопросов, резюмирующихся, в конечном счете, в одном: возможно ли в этих земных пределах по воле и разумению человеческому осуществление метафизических представлений об идеальном устройстве жизни общественной?

В мире платоновских идей Polis (город — государство) поистине обретал к концу творческого пути мыслителя масштабы и глубину бесценного кристалла, фокусирующего в себе богатство жизненной мудрости. Там было свое начало, и был живой голос: "писанные законы и нравы поразительно извратились и пали, — припоминал Платон в письме к своим друзьям, — так что у меня вначале исполненного рвения к занятию общественными делами, когда я смотрел на это и видел, как все пошло вразброд, в конце концов потемнело в глазах" (3, 325). Но что может быть естественнее стремления "быть свободными и жить под управлением наилучших законов", даже если это бесспорный оксюморон? И что может быть привлекательнее соблазна положиться на разум и опыт в отыскании наилучшей из форм правления?

Известная хрестоматийность прозвучавшего некогда вывода: "человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами" (3,326в) — в дне сегодняшнем бесспорно заражена интонацией безнадежности. Но насколько был не прав ученик Сократа, время все еще не успело дать окончательного ответа. Лишь очевидно, что мыслительный эксперимент по нахождению идеальных структур социального пространства, как только входит в сферу регламентирующе жесткого предначертания должного, почти неизбежно оборачивается примитивизацией самого логоса этого пространства. И поэтому все, что касается конкретизированной иерархии деятельностно-кастового устройства платоновского полиса, неизбежно в конечном счете преодолевается энергией жизненности, сохраняя лишь эйдетический импульс самоочевидного: рождаясь из сущностной самонедостаточности каждого из нас и столь же сущностной нужды во многих, полис для наилучшего своего устройства требует единственного — чтобы каждый, занимаясь своим делом, исполнял его наилучшим образом (4, 369с). В этом закон справедливости. — Сколь прост и банален вывод, столь же тяжек и сложен: до неисполнимости. Но задавая меру поистине космической ответственности за исполнение этого фундаментального закона справедливости, философ вводил тем самым требование его онтической неукоснительности. Само состояние Вселенной, космические катастрофы поставлены здесь в зависимость от человеческой жизни, ее деяний и свершений ("Политик", 269с — 274d). И все же был в реальной жизни самого Платона некий эксперимент — испытание на прочность философических экзерсисов, который вносил свои нюансы в сферу теоретических разыслений и давал почувствовать не упрощаемое биение перипетий самой жизни.

Отчетливо понимая, что "просьбы тиранов смешаны с принуждением" (3, 329), Платон, дополнив их вереницей самоубеждений: "...я хочу видеть осуществленными свои мысли о законах и государственном строе", "как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а сам никогда добровольно не взялся бы ни за какое дело..." (3, 328с) — откликается на приглашение правителя Сиракуз Дионисия, пожелавшего видеть философа своим наставником и другом. И вот вместо "большой надежды" "без избиений и казней, без всех совершившихся зол, устроить во всей стране счастливую и справедливую жизнь" (3, 328d) — философ получает окружение, безнадежно зараженное политическими раздорами и клеветой, заговорами, коварством, ненавистью и невежеством. Все это почти естественным образом дополняется слухами о необходимости казнить философа, как виноватого во всем, и расползающимся, отнюдь не обоснованным страхом. Платону удается спастись, жертвенная участь на этот раз настигает его ученика и друга, брата Дионисия — "Дион зарезан кинжалом словно жертва у алтаря". Описывая случившееся через много лет в письме к сыну Диона, Платон полагал, что при всей "странности и необычности происшедшего" необходимо понять основательность причин для случившегося.

В каком-то смысле все последующее творчество мыслителя было бесконечным отыскиванием этих причин. "Государство", "Политик", "Законы", "Послезаконие"... — мир тонких мыслительных построений, обращенных к возможному, но отнюдь не действительному пространству; он находит свое завершение в самоироничном и мудром признании: "...все это точно рассказ о сновидении, точно искусная лепка государства и граждан из воска!" ("Законы", 746а)

Тем более удивительным оказывается обращение Плотина, этого глубочайшего из мистиков, к идее Платонополиса, к идее, наполненной в стремлении Плотина замыслом своего земного воплощения. Речь шла о восстановлении некогда разрушенного города, о

наполнении этого вполне реального физического пространства новыми формами духовной и созерцательной жизни. При всей неприязни к любой политической деятельности, Плотин с большой последовательностью вынашивал свою мечту; благие намерения философа, как гласит историческое предание, были бы с легкостью исполнены, "если бы некоторые лица из окружения императора не воспротивились этому из ревности, недоброжелательства или некоего злого умысла" (5, с.110). Поверим преданию. Но не забудем об участии Плотина: в изнурительной болезни, покинутый учениками, наследуя всю полноту испытаний Иова, он мужественно завершал свою жизнь в полном одиночестве. И хотя иногда, обращаясь к Плотину, вспоминают слова Паскаля: "...Человек умирает одиноким. Поступай же так, как если бы ты жил один", — все же итогом его жизненного пути было преодоление границ одиночества в глубинном опыте Любви... Итогом же его неисполненной мечты оказалось прозвучавшее впоследствии замечание: Плотин "не обладал качествами основателя городов" (5, с.110).

* * *

Так, припоминая нечто, казалось бы далеко отстоящее друг от друга, мы подошли чуть ближе к некоторому исходному сюжету, который с определенной долей условности можно, пожалуй, обозначить как "приближение к физическим и метафизическим основаниям "основания" города.

Чем отличается основание города воображаемого от реального основания города? — Видимо, прежде всего тем, что только в первом случае можно на время забыть о принципиальной непредсказуемости и суровости жизни. И тогда эйдос города предстанет как некая "крепость" жизни, устремленной к взаимному благу и "процветанию" некоторого множества объединенных совместными усилиями людей, энергия которых, собственно, и удерживает уникальную определенность этого многомерно структурированного пространства. Именно с этим явленным в глубине образом, его сущностной определенностью и потаенным смыслом, связаны, как правило, метафизические основания города. В эйдосе города задается рельефность жизни, характер ее выразительности. Выходя из аморфной бескрайности своего пребывания в земном пространстве, человек ищет и находит во взаимоотклике локальные точки приложения собственных демиургических сил. Здесь в глубине души постигается принципиальная незавершенность Творения и онтическая ответственность человека за его продолжение. Здесь же задается энергия дерзновенности, род смелости, открывающий человеку перспективу деятельности-преображения. И здесь мы от эйдоса с неизбежностью переходим к Логосу, к самому методу, способу приложения этих сил, и тем самым попадаем в сугубо амбивалентное пространство, сопрягающее сущностный, эйдетически-смысловой план реальности с ее физическим планом. В Логосе города явлены одновременно: "крепость" и слабость, благо и зло, взаимосогласие и неукротимая вражда, "процветание" и богатство, разложение и нищета, жестокость братоубийства и всепрощающая жертвенность — все здесь переплетено, но пребывает во взаимоотличии. Пространство Логоса требует предельной бдительности человека. Здесь нельзя спать.

Но человек, как мы помним, любит сон и любит свои сновидения. Ведь он, как и город, живет ритмом дня и ночи. Так, по крайней мере, кажется...

Именно Город открывает человеку возможность вырваться из бесконечного вращения по периферии мира. Если отвечать на вопрос: рождением чего является рождение города? — в этом контексте мы могли бы ответить: появление кристаллизующих, центростремительных сил, "оформляющих" энергетически емкие

локусы земного пространства в уникальные точки-конфигурации, определяющие места **сосредоточения** множеств людей, порождает города.

Если же от этого предельно абстрактного уровня обратиться к живописной конкретности основания реального города, многое окажется и проще, и сложнее. Рождение Петербурга, например, как и всякое рождение, уникально в своей неизбежности.

В случае с Петром Великим вопрос об "обладании качествами основателя городов" был разрешен почти с природной **демонстративностью**: качества эти сказались даже на внешнем облике героя, подчеркнута выявляя не ординарность и масштабы его личности.

Метафизические и физические основания в рождении этого города сплетены до неразличимости. Конечно же, здесь не было и быть не могло никаких умозрительных обоснований необходимости нового города, но была сокрушительная, почти умопомрачительная страсть внутреннего убеждения в зримой и очевидной необходимости этой "крепости" и одновременно "парадиза": и посылаются в Москву одно за другим распоряжения Петра с одинаковой жесткостью требующие срочной присылки солдат и... цветов ("не помалу, а больше тех, кои пахнут"). Петр, в некотором роде, создавал свой Город-Солнце. Аналогия эта становится еще более явной и одновременно подчеркивающей различность у-топического и реально конструктивного вхождения в топос рождающегося города, если мы вспомним характер петровских распоряжений. Вот он приказывает всем губернаторам срочнейшим порядком прислать "на вечное житье с женами и детьми" для работ в адмиралтействе и в городе 5000 "мастеровых людей" разного рода: столяров, плотников, резчиков, токарей, бочаров, гончаров, живописцев, прядильщиков канатных, кузнецов, слесарей, каменщиков, каменоломщиков и др.; а вот знаменитый Указ "о хранении прав гражданских", завершающийся повелением: "доску с подножием, на которую оный напечатанный указ наклеить, и всегда во всех местах, начав от Сената, даже до последних судных мест иметь на столе, яко зеркало пред очами судящих" (6, с.159). Вскоре это "зерцало", как известно, приняло форму трехгранной призмы, на трех сторонах которой были напечатаны петровские указы, повелевающие и угрожающие должностным лицам суровыми карами за преступления по должности. Идеальный город всегда требует праведности правления...

То, что воля, ум и чувство, сливаясь в логику действия, преобразили "печальные болотистые места" в Санкт-Петербург, останется несомненным чудом; то, что потребовалось для этого несметное количество жертв, и не в одном поколении — несет в себе тяжесть неискупимого греха. Сколь глубок и лучезарен эйдос этого города, столь же тяжек и мрачен его логос. Но то и другое суть одно — живое целое глубинного смысла.

Сущностная амбивалентность города оказалась почти изначально спроецирована на личность и судьбу его основателя:

Великий гений, муж кровавый,
Вдали на рубеже родном
Стоишь ты в блеске страшной славы
С окровавленным топором.
Могучий муж! Желал ты блага,
Ты мысль великую питал,
В тебе и сила и отвага,
И дух великий обитал.

Но, истребляя зло в Отчизне,
Ты всю Отчизну оскорбил;

Гоня пороки русской жизни,
Ты жизнь безжалостно давил
Вся Русь, вся жизнь ее доселе
Тобою презрена была,
И на твоём великом деле
Печать проклятия легла.

(К. С. Аксаков, 1845)

И отзвуком, словно эхо, звучало:
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

Трудно, почти невозможно представить совмещение такого рода взаимоисключающих проекций, и тем не менее они суть одно и об одном!

Топонимическая неоднородность городского пространства, казалось бы, должна научать многокурсному сферическому видению и гибкой смысловой координированности в усложняющейся многомерной системе, но, увы, этого не происходит; быть может, фокусированность этого пространства центростремительными силами, возникающая при этом принципиальная суженность горизонта вызывает излишнюю фиксированность нашего ментального взгляда, чем и затрудняется его способность охватывать смыслообразующие сущности в глубинном единстве при всей их взаимоисключительности.

И тогда неизмеримо нарастает значимость сказанного одним из известнейших метафизиков века нынешнего: "Чтобы человек мог, однако, снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться существовать на безымянном просторе" (М.Хайдеггер).

P.S. Из диалога Платона "Государство":

— Мне кажется, Сократ, вы спешите вернуться в город.

— Твое предположение не лишено истины...

Остается добавить:

Участь Сократа была предрешена.

"Потому-то Невский проспект — прямолинейный проспект", как было замечено поэтом.

Но несмотря ни на что:

"Душа является и становится тем, что она созерцает" —

Это знал Плотин, и мы не будем сожалеть о том, что он "не обладал качествами основателя городов".

Будем лишь помнить, что Петербург — город пронзительной, торжественной и неприступной красоты!

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954

2. Достоевский Ф.М. Сон смешного человека. — Рассказы. М., 1985.

3. Платон. Письма. Соч. в 3 х томах. Т.3, ч.2. М.,1972.
4. Платон. Государство. Там же. Т.3, ч.1. М., 1971.
5. Пьер Адо. Плотин или Простота взгляда. М., 1991.
6. Пушкарев С. Петр Великий. "TRANSACTIONS of the Association of Russian-American Scholars in USA". Vol. VII. NY, 1973.

© Л. Морева, 1993